

## Чего хочет “жалкий человек”

*Опыт анализа сочинений Н.С. Мартынова*

О.П. ПОПОВ

О Николае Соломоновиче Мартынове мы знаем немного. Сам он так и не написал о себе, хотя дважды начинал воспоминания. Почему-то его обошли вниманием и товарищи по военной школе, и однополчане, и участники последней дуэли. До сих пор нередко повторяются слова Е.Г. Быховец: “Глуп ужасно”. Называют его графоманом, озлобленным неудачником. Только вряд ли такая характеристика вполне верна. Быховец писала о нём под впечатлением гибели Лермонтова. Но в том же письме она сообщала, что Лермонтов рекомендовал ей Мартынова как товарища, друга. Дурака как друга? Непонятно. И почему Лермонтов обрадовался, когда узнал по приезду в Пятигорск, что и Мартынов там? Почему незадолго до дуэли приходил к Мартынову “отвести душу”? Не к М.П. Глебову или С.В. Трубецкому, а к Мартынову. И неудачником Мартынов не был: богат, по-своему красив, имел успех у женщин, на Кавказе получил орден и чин майора в двадцать пять лет. Не был он и графоманом, писал редко, всё написанное им составило бы небольшую книжку. Но он печататься, по-видимому, и не пытался, хотя его стихи нашли бы место среди массы посредственных стихов, печатавшихся в то время.

Язык и стиль произведений могут многое рассказать о человеке. Попробуем проанализировать стихи Мартынова. К сожалению, до нас не дошли сочинения юнкерской поры, когда, по свидетельству его старшей сестры, он и Лермонтов всё время “кололи друг друга”. Очевидно, уже тогда у Мартынова сложился взгляд на Лермонтова, как на такого же как все (“все мы тогда писали не хуже Лермонтова”, – утверждал же в 1884 году их товарищ А.И. Арнольди), хотя и писал впоследствии об умственном превосходстве Лермонтова над другими юнкерами и даже удивлялся, как он “мог достигнуть тех блестящих результатов при столь малом труде (? – О.П.) и в таких ранних годах”. Впрочем, это признание сделано через тридцать лет после дуэли.

Первое впечатление от стихов Мартынова довольно благоприятное. Писал он, по-видимому, легко, язык свободный, ритм и рифмы почти всегда безошибочны. Но он не любил (или не умел) работать над произведением, многое оставалось незаконченным (“Ужасный сон”) или только начатым (“Гуаша”, воспоминания). Несколько стихотворений были написаны им в Петербурге в 1836 году. Потом молчание. Но в

1840 году, когда Мартынов и Лермонтов оказались на Кавказе почти рядом (Лермонтов в крепости Грозная, Мартынов в Герзель-ауле и в станице Червлённой), он пишет много, вероятно, под впечатлением разговоров и споров с Лермонтовым, ибо то подспудно, то явно полемизирует с ним. После дуэли он надолго умолкает.

Язык его произведений прост. Архаизмов почти нет: *сей последний* (“Гуаша”), *десница; все богатство его на земли!*.. (“Чеченская песня”) – вот почти всё. Гораздо чаще встречаются слова вполне современные: *экспедиция, аксиома, проэктированный, диспропорциональный, эксплуатация, атмосфера, колорит*. Но это в прозе. Он, вероятно, понимал, что в стихах подобные слова неуместны. Не увлекался он и экзотической лексикой, хотя без неё писать о Кавказе трудно. В “Гуаше” это – *башилык, беишет, чадра* (к этому слову он даже сделал примечание). В “Герзель-ауле” – *пилав; шашлык; мулла в архалуке*. Немного больше в “Чеченской песне”: *уздень, кровавая калла, заветный Волчок, винтовка Хаджи-Мустафы*. И там же довольно интересный образ, рисующий очи красавицы: “Их чернее едва ль/Воронёная сталь/Дагестанских тяжёлых клинков”. Кое-где встречаются шаблонные выражения: “У вас голубенькие глазки,/Живые, полные огня” (“Экспромт”), “Как безумцу любовь,/Мне нужна его кровь...” (“Чеченская песня”). У Пушкина заимствовано “высокой думой полн” (“Нева”).

Но не эти незначительные вкрапления в обычную речь характеризуют язык Мартынова, а военная лексика. В ней он чувствует себя свободно, порой даже щеголяет ею. И если в стихах Лермонтова офицер чувствуется редко, то у Мартынова почти всегда. Вот некоторые слова и выражения в “Герзель-ауле”: “Казаки тронулись ходой”, “сбегают в сторону коней”, “с присошек летают выстрелы”, “стянули цепь”, “полковник вынес роту на плечах”, “за ним вся рота на хвосте”, “гичат пронзительно”, “на задних бабках повернул”. В “Ужасном сне” – “галоп отрывист”, “трепетят” и т.д. Охотно использует он команды: “На конь!”, “По возам!”, “Гребня, за мной! В отрез дорогу!”. Описания войск, их движения у него довольно выразительны:

Прикрыты фланги длинной цепью  
 Попарно идущих стрелков;  
 От них на выстрел гладкой стелью  
 Патрули едут казаков (...)  
 Уж авангард остановился,  
 Казаки слезли с лошадей,  
 Бивак походный очертился,  
 Места разбиты для частей;  
 На них вступают батальоны,  
 И в козлы ружья в тот же миг.  
 Равняют в линию колонны,  
 Штабные скачут... шум и крик ...

(“Герзель-аул”)

Лексика его не бедна. Вот он описывает состояние командира полка в “Ужасном сне”:

Его ничто на этот миг  
Не веселит, не занимает (...)  
Уныл, печален, огорчён,  
Расстроен, пасмурен, встревожен,  
Надорван, загнан, запалён,  
Убит, зарезан, уничтожен!

Ему не чуждо чувство юмора, правда, грубоватого, а порой и жестокого. Так он изображает парадный строй:

...Стоит кавалергардский полк.  
Как стройный лес, мелькают пики,  
Пестреют ярко флюгера,  
Все люди, лошади – велики,  
Как монумент царя Петра! (...)  
Все лица на один построй,  
И станом тот, как и другой!  
Вся амуниция с иголки,  
У лошадей надменный вид,  
И от хвоста до самой чёлки  
Шерсть одинаково блестя. (...)  
Что офицеры? – Ряд картин,  
И все как будто бы один!

Лёгкость, с какой ему давался стих, часто приводила к многословию. Ему недостаточно одной-двух характерных деталей, он хочет всё как бы сфотографировать, не умеет отобрать самое выразительное.

Но иногда Мартынов склонен и к серьёзным размышлениям. Вот в повести “Гуаша” он характеризует светское общество: “... от постоянного обращения в одной и той же среде, ввиду одних и тех же интересов, у людей суживается взгляд на жизнь, составляется совершенно превратное и одностороннее суждение о достоинствах человека вообще. (...) Наружная форма берёт перевес над внутренним содержанием”. Или такая сентенция о мужской дружбе (в “Герзель-ауле”): “Любить никто ведь не обязан,/ А любят добрые сердца”. Поэтому не совсем неожиданным выглядит его перевод из Анри Шенье, незаконченный, недоработанный, но местами довольно удачный:

... Свобода,  
Как Геркулес, родилась непобедима,  
Воздвигнут ей алтарь под облаками дыма,  
И взгляд её очей законом стал народа!..  
От дуновения упали стены башен,  
И первый крик её был мужествен и страшен. (...)  
Руками мощными разгневанный ребёнок  
Омыл в крови врагов родную колыбель,  
И кровь текла струей с воинственных пелёнок.

Нет, Мартынов не был глуп и не так уж бездарен. Это в какой-то степени объясняет отношение Лермонтова к нему как к товарищу. Но и шутки Лермонтова тоже понятны, ибо Мартынов был самоуверен, самолюбив и склонен к рисовке. Сам же Мартынов плохо понимал Лермонтова. В повести “Гуаша” он делает попытку изобразить настоящего “героя времени”, явно противопоставляя его Печорину. Сюжет повести близок к сюжету “Бэлы”: русский офицер влюбляется в дочь мирного черкеса, и она тоже любит его. Но князь Долгорукий – антипод Печорина. Он относится к Гуаше, как к ребёнку, которого нельзя обижать. Изображая князя в качестве идеального героя, Мартынов делает это довольно прямолинейно, просто перечисляя его положительные черты. Долгорукого отличает молодецкая удаль и вместе с тем дисциплинированность. У него “весёлый нрав и неисчерпаемое добродушие; притом никогда ни о ком дурно не отзывался и никому не завидовал”. У него “возвышенная душа”. И хотя “петербургская среда портит людей”, Долгорукий “вышел чист и невредим из этого одуряющего омута”. На Кавказе “в каждом разжалованном он видел прежде всего несчастного, которому следует пособить”. “Гордость или высокомерие были несвойственны ему”.

“Гуаша” осталась незаконченной. Но в “Герзель-ауле” полемика Мартынова с Лермонтовым становится особенно очевидной. Можно почти с полной уверенностью считать, что лермонтовский “Валерик” был Мартынову знаком. Это видно из построения, из сходства многих сцен. Стихотворение Мартынова почти в два раза больше лермонтовского, композиционно рыхлее. В “Валерике” начало и конец образуют как бы кольцо, обрамляющее ряд военных сцен. Мартынов начинает с изображения войска, возвращающегося из похода. В дальнейшем он никак не может оторваться от военных сцен. Вся вторая часть стихотворения – описание карательных экспедиций, милых сердцу автора. Сцены, близкие по содержанию сценам из “Валерика”, имеют совершенно иную окраску. Соображения Лермонтова о бессмысленности войн Мартынову чужды, он полностью поглощён описанием лихих походов, доблестью казаков (он сам служил в казачьих войсках), прославляет жестокость по отношению к чеченцам. В “Валерике” после обращения к адресату следует описание военного лагеря. Мартынов, рассказав о возвращении войска, тоже изображает лагерь. Лермонтов видит не только русских, он любит “жёлтыми лицами” татар, их одеждой, гортанным говором. Мартынов тоже заметил нерусского: “То армянин нахичеванский, полухитрец, пол-идиот”. Здесь он краток. Но вообще-то его описания многословны. Вот у Лермонтова эпизод, отражённый в одной фразе:

Верхом помчался на завалы,  
Кто не успел спрыгнуть с коня...

Аналогичный эпизод у Мартынова превращается в целый рассказ офицера:

«Ходили много раз в штывки... (...)  
Я был верхом, куда мне деться?  
А вижу, плохо, угостят,  
Но не успел я оглядеться,  
Как там кричат: “Ложись, палят!”  
Раздался выстрел – и картечью  
Меня осыпало всего;  
Я отвечал им крупной речью,  
А цел остался, ничего!»

Тон рассказа хвастливый, что нередко встречается у Мартынова. У Лермонтова – никогда.

Одно из центральных мест в “Валерике” – сцена смерти капитана. Мартынов тоже рассказывает о смерти раненого солдата, подробно, с отступлениями, а заканчивает так:

И я спросил себя невольно:  
Ужель и мне так умереть?..

Он не скрывает, что умирать ему не хочется.

Война – это не только победы. Лермонтов говорит об этом кратко:

Как при Ермолове ходили  
В Чечню, в Аварию, к горам;  
Как там дрались, как мы их били,  
Как доставалось и нам...

Мартынов тоже признаётся:

Зато и нам не всё сходило (...)  
Да так гостей незваных примут,  
Что дай бог ноги унести ...

Но он обвиняет в неудачах мирных чеченцев, которые будто бы предупреджали о готовящемся походе своих немирных друзей. И тут же он переходит к победным тонам. “Начальник наш, в душе храбрец”, первым «мчится на коне: /”Гребня, за мной! В отрез дорогу!”/ И гребенцы уже в огне». И не преминет сказать о том, что казаки-гребенцы, захватив тела убитых чеченцев, привязывают их к хвостам коней и “влачат с триумфом их в станицу”.

Есть в “Валерике” сцена стычки казака с мюридом и – вывод:

Но в этих шибках удалых  
Забавы много, толку мало ...

Мартынов о подобной стычке рассказывает с многими подробностями. По его версии, догадливый урядник “поверх заряда в ствол винтовки пучёк иголок посадил”, поскакал к джигиту, “круто на задних бабках повернул... раздался выстрел без раската”, и джигит упал, пронзённый иголками. Следует сцена схватки за тело убитого, заканчивающаяся, конечно, победой казаков.

Снова и снова возвращается Мартынов к теме карательных экспедиций, воспеваает их беспощадность, порой даже с каким-то садистским торжеством и юмором:

Горит аул недалеко...  
То наша конница гуляет,  
В чужих владеньях суд творит,  
Детей погреться приглашает...

(то есть, погреться у собственного горящего дома!)

...Все были в деле боевом;  
И так им дело полюбились,  
Что разговоры лишь о нём (<...>  
Чеченцы выбиты с уроном,  
Двенадцать тел у нас в руках...

Казаки рады случаю “упражняться (<...> в пожоге всего, что встретится на пути”.

На всём пути, где мы проходим,  
Пылают сакли беглецов;  
Застанем скот – его уводим,  
Пожива есть для казаков.  
Поля засеянные топчем,  
Уничтожаем всё у них,  
И об одном лишь только ропщем:  
Не доберёшься до самих (<...>  
А их фруктовые деревья  
Солдаты рубят на костры.  
Пощады нет... Изнемогли,  
Приходят женщины сдаваться,  
Мужчины, смотришь, – все легли.

Есть в “Герзель-ауле” и прямое доказательство того, что “Валерик” был Мартынову знаком (впервые на это указала М.М. Уманская). У

Лермонтова есть фраза: “Простора нет воображенью”. Мартынов использует её для создания карикатурного портрета Лермонтова:

Вот офицер прилѣг на бурке  
С учёной книгою в руках,  
А сам мечтает о мазурке,  
О Пятигорске и балах.  
Ему всё грезится блондинка,  
В неё он по уши влюблѣн.  
Вот он героем поединка,  
Гвардеец тотчас удалѣн;  
Мечты сменяются мечтами,  
Воображенью дан простор...

“Учёная книга” – тоже, очевидно, намѣк на Лермонтова, который получал самую разнообразную литературу и даже во время сражения спорил с декабристом В.Н. Лихаревым о Канте и о Гегеле. Мартынов делает вид, что не верит в серьёзность чтения Лермонтова.

Это не единственный выпад против Лермонтова. Известна его эпиграмма-экспромт, задевающая не только Лермонтова, но и Н.А. Реброву, и Э.А. Верзилину. Лермонтов, обычно не обижавшийся на шутки, расценил эту эпиграмму как сплетню и написал: “Подлец Мартышка”.

Ещё резче звучат последние строчки “Чеченской песни”:

Я убью узденя!  
Не дожить ему дня!  
Дева, плачь ты зараней об нём!..  
Как безумцу любовь,  
Мне нужна его кровь,  
С ним на свете нам тесно вдвоём!..

Узнаются слегка изменѣнные слова Грушницкого во время его дуэли с Печориным: “Нам на земле вдвоѣм нет места...”. Грушницкий был убит. Но всѣд лишь в мечтах Лермонтова “гвардеец тотчас удалѣн”. Мартынов в себе уверен: он – не Грушницкий, промахнувшийся в шести шагах. И Лермонтов, в отличие от Печорина, не выстрелил на дуэли ни в Баранта, ни в Мартынова.

Да, Мартынов не так примитивен, как его обычно рисуют. Он не глуп, не лишѣн литературных способностей, но жесток, не терпит ничего, что не совпадает с его взглядами. Самолюбив, себялюбив, явно переоценивает свои способности. Поэтому он не в состоянии понять, что Лермонтов – гений. Он, вероятно, считал, что Лермонтову просто везѣт, и к этому “везению”, а не к таланту испытывал зависть. А когда возникли слухи о том, что в повести “Княжна Мери” изображены он и его сестра, недоброжелательство перешло в ненависть. Сыграло, очевидно, роль и письмо его матери, в котором она предупреждала, что

Лермонтов “не пощадит твоих сестёр”. Но сразу порвать отношения значило бы, что сплетни справедливы.

В “Валерике” ясно поставлен вопрос: “Жалкий человек! Чего он хочет?” И Мартынов в “Герзель-ауле” отвечает: он не хочет быть жалким человеком. Он хочет быть сильным, бесстрашным, беспощадным, похожим если не на Наполеона, то хотя бы на Ермолова. По чужой земле он идёт, “следы огня и разрушения, / Оставляя всюду за собой”. С тем, кто думает иначе, ему “на свете тесно вдвоём”. И он целится в автора “Валерика” так долго и тщательно, что секунданты готовы развести их. Целится, как учили в армии, “в пол-человека”, чтобы уменьшить вероятность промаха. Раскаяния нет. Это его отец, чтобы искупить грех сына, строит больницу для бедных. А Мартынов, сосланный в Киев, гуляет с красивыми женщинами и надоедает царю просьбами о помиловании. Да, “жалкий человек” остаётся собой. На Кавказ он не поедет, там война приняла иной оборот...

Что же интересовало Лермонтова в Мартынове? Человеческие отношения иногда трудно понять. Дружил же А.С. Грибоедов с Ф.Б. Булгариным. Сошлись Онегин с Ленским, Печорин поддерживал приятельские отношения с Грушницким. Может быть, Лермонтову интересно было проверять и оттачивать свои мысли в спорах с человеком противоположных взглядов. Но такие отношения нередко кончались трагически. Думал ли об этом Лермонтов, мы не знаем. Мартынов думал.

*Семибратово,  
Ярославская область*

## Крокодил в “Крокодиле” Ф.М. Достоевского

### О смысловых значениях образа-символа

О. Г. ДИЛАКТОРСКАЯ,  
кандидат филологических наук

По своей сути образ *крокодила* – это образ-символ, многослойный, многофункциональный, “ощетинившийся” разными смыслами, которые и необходимо выяснить. Сначала выпишем ряд приложенных к нему в тексте значений. Крокодил – это животное с ареалом обитания в Египте. Крокодил – это иностранец в России. Он – капитал крокодилщика-немца, частная собственность, олицетворяющая экономический принцип в буржуазном мире. Крокодил – тюрьма. Наконец, крокодил – реторта для эксперимента. Крокодил – это западная идея, олицетворение европейской цивилизации. Вместе с тем, значения, лежащие на поверхности, осложняются своими глубинными смыслами. Кроме того, номинативные предметные функции несут на себе нагрузку значений пространственных географических объектов. Всё это и станет предметом нашего анализа.

Герой повести стремится выяснить ещё и этимологические корни слова *крокодил*: “Crocodillo, – есть слово, очевидно, итальянское, современное, может быть, древним фараонам египетским и, очевидно, происходящее от французского корня: *stoquer*, что означает съесть, скушать и вообще употребить в пищу” (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 5. С. 196; далее – только стр.). Оставив в стороне ироничность авторского толкования, укажем на два очевидных признака, обнаруживающих синхронную связь субъекта и слова, его означающего, с двумя пространствами – миром современным и древним, Россией и Европой. Образ крокодила, таким образом, выполняет роль “моста” между прошлым и настоящим, историей и современностью, Востоком и Западом.

Древний мир являет свои реалии в словесной формуле “фараонов египетских”, которая сразу же уводит в века до нашей эры. В Евангелии от Матфея приведён рассказ об Ионе, в наказание заслушавшего попавшего в чрево рыбы. Событие произошло в Средиземном море. Прислушаемся к комментариям архимандрита Михаила, богослова XIX века: “еврейские слова, которые переводятся словами – *китъ великий*, не означают непременно кита, а означают вообще большую ры-

бу какого-либо рода. Можно думать, что это была акула, которая может свободно проглотить целиком человека; сохранение человека во чреве акулы живым в продолжение трёх суток, без сомнения, есть действие чудесное” (Толковое Евангелие. Евангелие от Матфея. СПб., 1870. Кн. 1. С. 227). В толковании евангельского текста обращают на себя внимание конкретные детали: упоминание Средиземного моря, рассказ о рыбе-кит, которая трансформируется в акулу, так как киты “редко встречаются в Средиземном море” (Там же), история о чудесном трёхдневном пребывании во чреве рыбы и спасении по Божьему повелению. Все эти подробности и детали мифа об Ионе и его толкование могли быть известны Достоевскому.

Любопытно, что Иван *Матвееч* (от Матвея / Матфея) попадает в крокодила, подобно Ионе. Совсем, видимо, не случайно границы Средиземного моря писатель очерчивает указанием прибрежных стран: Египта, Италии, Франции. Более того, в повести Достоевского каждая из них претендует на приоритетность своей исторической связи с крокодилом (а может быть, как сказано в повести, “с каким-нибудь другим ископаемым” – 198, то есть с трансформацией огромной рыбы – кита или акулы), ещё со времён “фараонова царства”, понимай, с очень давних, исторически близких легенде об Ионе (2-я половина VIII века до н.э.).

Знаменательно, что крокодил в повести вывезен из Германии, и его показывают немцы, а не – в соответствии с предложенными этимологическими корнями – итальянцы или французы. Выбор писателя ставит читателя в тупик, заставляет задуматься: почему именно немцы, что этим хотел сказать Достоевский?..

Фантастическое устройство чудовища напоминает совершенно пустой огромный мешок, как будто бы сделанный “из резинки”: “вроде тех резиновых изделий, которые распространены у нас в Гороховой, в Морской и, если не ошибаюсь, на Вознесенском проспекте” – так свидетельствует очевидец из крокодила (196). Станным образом крокодил-иностронец как изделие природы, завезённый немцами из Германии, сближается с чисто петербургскими изделиями, какие можно найти в *Гороховой, Морской и на Вознесенском*. Трудно судить о том, что ещё можно найти на этих петербургских улицах, кроме резиновых изделий, но, думается, совсем не случайно упомянуты именно эти улицы, хотя принцип случайности, периферийности, ускользающей информации здесь тоже ощущается.

Гороховая, Морская, Вознесенский – места действия петербургских повестей и Пушкина, и Гоголя, и Достоевского. Вознесенский, например, прямо ведёт в Коломну и к Медному Всаднику, к Неве. О Вознесенском, о безносых торговках, продающих здесь апельсины, упоминает майор Ковалёв (“Нос”). В этом районе в канун Нового года в магазине мадам Леру оказывается Вася Шумков (“Слабое сердце”). О ка-

ком-то циркульнике в Гороховой, который изготавливает особые пузырьки, наполненные честолубием, фантазирует безумный Поприцин (“Записки сумасшедшего”). На углу Морской и Гороховой расположен дом графини (“Пиковая дама”). Втянутый в петербургское пространство заморский крокодил тоже становится его принадлежностью, откликается образам российской истории. Крокодилово чрево, напоминающее резиновые изделия, – ещё и пространство для узника: эти значения сразу же подключают к бытовому, но фантастическому происшествию политические аллюзии.

Крокодил, заглотивший “сына отечества”, вызывает ассоциации с узилищем, крепостью. Вольно или невольно в этой связи оказывается оправданным замечание о том, что крокодил не итальянского или французского, а немецкого “подданства”. В России императорский дом, начиная с эпохи Петра I, рождался, искал невест не во Франции и Италии, а в Германии. Немецкая кровь текла в жилах русских царей, немцы занимали первенствующие места в государстве. Не потому ли немец-крокодилыщик осознаёт свою особую роль и требует для себя каменный дом на Гороховой, собственную аптеку и чин *русского полковника* (200), таким образом заявляя свои исторические преимущества? Пётр создал Петропавловскую крепость как цитадель города с немецким именем – Петербург, как оплот имперской власти. В Петропавловской крепости в ожидании приговора в разное время томились декабристы и Чернышевский. Крокодил как крепость, как символ власти угрожает жизни каждого человека, напоминает о своей прожорливости.

Встанут и другие вопросы: имеет ли крокодил, столь чужестранное и экзотическое существо, связь с русской культурой, историей, народными представлениями? А если имеет, то какие именно?

В словаре В.И. Даля слово *крокодил* объясняется следующим образом: “зубастое, болотное животное, в роде огромной ящерицы” (Даль В.И. Толковый словарь. М., 1979. Т. II. С. 197). Толкование как бы “подогнано” под понятия и ассоциации русского человека. Почему бы такой большой ящерице не поселиться в петербургских болотах? Тем более, что в повести имеются прожекты в целях экономического принципа разводить крокодилов в прудах Парголово под Петербургом и на Самотёке в Москве. Абсурдность подобных предложений только усиливает фантастичность реальности.

Сюжет “Крокодила” строится на мотиве яви/сна (“Порой мне, право казалось, что всё это какой-то чудовищный сон (...) о чудовище...” – 193), – обычный приём, вводящий в повествование фантастический элемент. Легко заметить, что формируется фантастико-символическая атмосфера в повести именно вокруг образа крокодила. В “Новейшем снотолкователе” (М., 1829) сказано так: “*крокодил*, виденный во сне, означает несчастье и гонение от врагов скрытных” (Сказания о чудесах. Библиотека русской фантастики. М., 1990. Т. 1. С. 460). Несмотря

на то, что мотив несчастий и гонений убран в подтекст, стоит “за кадром”, как и мотив сна, события повести балансируют на грани реальности-фантастики, открывая таким образом возможности для проявления разнообразного спектра мифологических аллюзий.

В христианской символике, в масонской интерпретации, в египетской мифологии, крокодил – мистерийное животное: это дьявол Тифон – символ зла, демон-разрушитель, поджидающий свои жертвы между землёй и Елисейскими полями (Мэнли П. Холл. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцерской символической философии. Новосибирск, 1992. Т. 1. С. 312, 327). В повести: “наш милый Иван Матвеич, по всей вероятности, парит теперь где-нибудь в эмпиреях” (184). “Парить в эмпиреях”, например, означает: находиться между небом и землёй (Фразеологический словарь. М., 1967. С. 69). Важно уяснить, что в русском языке понятия “Елисейские поля” и “эмпиреи” синонимичны и символизируют не только неземные пространства, приют для античных богов и героев, но обитель смерти. Ещё у Пушкина встречаем: “отправиться в Елисейские поля” – умереть (Мифологический словарь. М., 1985. С. 163). В значении “умереть” Достоевский употребляет выражение “парить в эмпиреях”, как Пушкин – “отправиться в Елисейские поля”. В логике такого рассуждения образ крокодила в исследуемой повести приобретает ещё одну грань смысла: “обитатель фараонова царства”, мистерийное животное египетской мифологии – агрессивное “коварное чудовище” (181), дьявол Тифон, пожирающий свои жертвы. Уместно напомнить, что злой крокодил-Тифон, изрыгающий пламя, в своих мифологических функциях и значениях напоминает крокодила, лютого зверя, гнев которого порождает огонь, всё кругом уничтожающий. Этот образ был известен русским читателям из “Сказания об индийском царстве”.

Следовательно, народное сознание восприняло образ крокодила уже в XIII веке. В “Сказании” сформировано представление о некоей земле, по которой “в одну сторону нужно идти десять месяцев, а до другой идти невозможно, потому что там небо с землёю встречается” (Сказание об индийском царстве // Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М., 1981. С. 468). Среди фантастических людей (немых, рогатых, девяти сажен великанов), с четырьмя руками, с собачьими головами и т.д.) упоминаются нефантастические, но для русского сознания экзотические животные: слоны, крокодилы, другорбые верблюды, обладающие чудесными свойствами. Эти народные представления могли быть известны и Достоевскому, как многим его современникам. Страница Феклуша из “Грозы” Островского говорит, например, о “людях с пёсыми головами” (Островский А.Н. Собр. соч.: В 10 т. М., 1959. Т. 2. С. 241), тем самым “озвучивая” знание автора, цитату из “Сказания об индийском царстве”. Главное, что несомненно бросается в глаза: кро-

кодил, столь нетрадиционное существо для русского быта, входит в число фольклорных образов, отражается в мифологических представлениях народа, в его словарном составе.

Крокодил как герой известен и русскому лубку. Одна из лубочных картинок собрания Д.А. Ровинского называется: “Яга-Баба едет с крокодилем драться на свинье с пестом да у них же под кустом скляница с вином”. Эта картинка относится к началу XVIII века. Она – из сюжетов, вышедших из старообрядческой среды, критикующих Петра I и его реформы. На этом сатирическом листке изображена Яга-Баба верхом на свинье с пестом в руках, угрожающая крокодилу, который поднял на неё свои лапы и присел на хвост. Здесь же, под крокодилем, как эмблема выполнена заставка, на которой оттиснут маленький корабль, а в середине композиции – куст, под ним – “скляница с вином”.

Кто же скрывается за этими сатирическими аллегориями? Крокодил – Пётр I, а Яга-Баба – Екатерина I. Корабль = эмблема – символ петровского флота, в котором значилось небольшое судно под названием “Крокодил”, легкоманевренное, гроза для неприятеля, ужасное с виду и стойкое в бою. Это название корабля в сатирическом лубке перенесено на царскую персону, а листок рассказывает о семейных ссорах супружеской императорской четы, любившей причаститься к “склянице с вином” (Ровинский Д.А. Лубочные картинки. СПб., 1839. Т. 1. С. 37; Т. 4. С. 158–159; Т. 5. С. 158; *Le Loubok, Limagene populaire russe XVII<sup>e</sup>–XIX<sup>e</sup> siecles. J.*, 1984. № 27).

В сознании раскольников Пётр I-крокодил – дьявол, антихрист, его окружают адские образы: Яги-Бабы, свиньи. Этот лубочный сюжет показывает реакцию религиозного старообрядческого сознания, поддерживает связь образа крокодила с мотивами русской государственности, соотносит его с самим Петром I.

В повести Достоевского явно видна ориентация на лубочную художественную манеру: в “Крокодиле” безусловно слышен особый язык лубка, в сюжетах которого бойкий герой невредимым спасается из утробы чудовища (Иезуитова Л.А. Повесть Достоевского “Крокодил” // От Пушкина до Белого. СПб., 1992. С. 194, 205). Кроме листков на тему заглатывания героя крокодилем Достоевский безусловно был знаком и с листком, изображающим Петра I в виде крокодила. Во всяком случае это может служить объяснением мотивов, связанных с историко-политическими аспектами современной Достоевскому реформы 1861–1865 годов, отнесённых к эпохе петровских преобразований, что и устанавливают подтекстовые переключки образов повести “Крокодил” с образами лубочных картинок.

Нетрудно заметить, что у образа крокодила ограниченные функциональные возможности, а следовательно, не велик перечень его значений: крокодил – дьявол Тифон, лютый зверь, символ несчастья и гонения скрытых врагов, болотное животное, напоминающее большую

ящерицу, название корабля петровского флота, герой лубочных картинок в роли Петра I.

В лубке проявляется ещё одна функция этого образа: он символизирует инобытие, по своим значениям инвариантное тридцатому царству в сказках, из которого герой, как правило, возвращается невредимым, обновлённым, счастливым победителем.

Возможно, лубочная версия, рассказывающая о человеке, попавшем в чрево чудовища и чудесным образом спасшегося, соотносится с библейским мифом об Ионе, по велению бога Яхве оказавшегося в чреве огромной рыбы (в славянском изложении Библии – кита), находившегося там три дня и извергнутого после молитв и покаяния без повреждений на свет Божий. В другом варианте легенды Иона побывал в двух рыбах. Первая была большая, внутренность её представляла собой просторное полое помещение, освещённое алмазом. Эта рыба открыла Ионе тайны, скрытые от взора человека, и не причинила ему никакого вреда, отсутствив через три дня. Другая рыба, так как находилась в период метания икры, оказалась неудобной и тесной для Ионы: тогда только он стал молить Бога об избавлении (Мифы народов мира. Энциклопедия. М., 1991. Т. 1. С. 555. Стлб. 1–3). Распространённый мифологический сюжет проглатывания и изрыгновения чудовищем человека несёт на себе, как известно, отголоски обряда инициаций, а также традиции, предложенной экзегетами, которые видели в этом образе символ вавилонского пленения, наконец, новозаветной христианской традиции смерти и воскресения на третий день (Там же. Стлб. 2–3).

Конечно же, Достоевский использовал этот универсальный мифологический сюжет: у него собраны в неразложимое единство мотив чудовища, мотив его утробы, напоминающей просторное помещение (Иван Матвееч приглашает к себе и своего друга, и жену), писатель не упускает и мотив темноты, мотив пленения, мотив заглатывания (“благодаря всевышнего проглочен без всякого повреждения” – 185), мотив приобщения к чудесному пророческому знанию (“Из крокодила выйдет теперь правда и свет” – 194), пространственный мотив “иного мира”. Однако чрезвычайно знаменательно то, что Достоевский выбирает не образ рыбы, а образ крокодила, выполняющего все эти функции универсального мифологического сюжета, и, несмотря на свою экзотичность, имеющего связь с русским фольклором, с русской лубочной культурой. У него универсальный сюжет пронизывается дополнительными мотивами русского фольклора и русского лубка: например, заглатыванием героя именно крокодиллом, соотнесённым с мифологическими народными представлениями и с историческими реалиями, возносящимися в своих значениях к петровской теме, отражённой в народной культуре, осмеянной здесь в образах ряженных.

Выстраивая образ крокодила, писатель формирует его в виде пространственных значений, что способствует восприятию этого образа

как фантастического. Например: попасть в крокодила – значит быть “командированным в недра” (191–192), числиться за границей (191), осматривать в крокодиле “европейские земли” (189). Крокодил является границей, разделяющей *этом* и *там* свет. Автор подчёркивает эти значения, выделяя их курсивом: “Если буду знаменит *здесь*, то хочу, чтобы она была знаменита *там*” (194). Таким образом, зримо противопоставлены пространство крокодила и пространство Петербурга, как два разных бытия. Кроме того, крокодил является *ретортой*, *недрами природы* (196), где происходит эксперимент эпохального значения: из рядового чиновника формируется национальный мессия. Наконец, крокодил для Ивана Матвевича – “темница” (198): его жена может потребовать своего законного супруга и с целью его вызволения затеять “судебный процесс” (200).

Образ крокодила имеет ряд значений, перекликающихся с идеями буржуазного века, его социально-экономическими принципами. Вспервых, крокодил – символ частной собственности, предмет купли-продажи, благодетельный пример привлечения иностранных капиталов в Россию (186): вспороть брюхо крокодилу – то же самое, что “основному капиталу брюхо вспороть”. В этой связи Иван Матвевич выполняет роль сына отечества, так как “собою ценность иностранного крокодила удвоил, а пожалуй, ещё и утроил”. Его пример привлечёт и другого, и третьего иностранца, который “уже двух и трёх зараз привезёт” крокодилов, а “около них капиталы группируются. Вот и буржуазия” (190). Кроме сказанного, в этом пласте значений образ крокодила, если следовать его художественной природе, выступает в роли аллегории: Европа явилась в Россию в виде зубастого крокодила (иностранного капитала), проглотила чиновника среднего достатка, начав таким образом “прививку” экономических инстинктов, чтобы способствовать формированию среднего сословия в России, помочь *родить* “так называемую буржуазию” (189).

Мотив буржуазной Европы безусловно связан с мотивом привлечения иностранных капиталов в Россию, которым надо дать ход “для скупки по участкам наших земель” (189). В этой логике понятно требование крокодильщика, возжелавшего приобрести собственный дом в Гороховой улице Петербурга, а не в какой-нибудь *straße* Гамбурга, Берлина или Дрездена. Распродажа земли имеет, по Достоевскому, не только экономический, но и политический эффект: “Когда (...) вся земля будет у привлечённых иностранных компаний в руках, тогда (...) можно какую угодно цену за аренду назначить. Стало быть, мужик будет работать (...) из одного насущного хлеба (...) будет покорен, прилежен и втрое за ту же цену выработает” (190) – Европа, таким образом, поможет не только собственную буржуазию создать, но и “услужливых пролетариев”.

Образ крокодила выполняет ещё и идеологическую функцию. В ча-

сти своих значений: как крокодил-*реторта* – этот образ откликается образу *реторты*-подполья “Записок”, несущего идею объединения от национальных корней, отчуждающую героев от почвы под воздействием европейских знаний и западных идеалов. Идеологическая функция образов крокодила-*реторты* и *реторты*-подполья раскрывается в задаче создания особого вида – общечеловека, всемирного *гомункула*: “стоит только приложить плоды европейской цивилизации” (59).

Что же получается в итоге? Нет никаких сомнений в том, что образ крокодила – это образ-символ, раскрывающий свои смыслы в разных ракурсах: пространственном, историческом, фольклорном, мифологическом, идеологическом, социальном и политическом. При наложении разных функций и формируется образ-символ последней петербургской повести. Технику этого образа Достоевский заимствует в русском лубке, в библейских мифах, в образах-аллегориях. Такая техника даёт возможность соединять быстротекущий момент с вечностью, газетную информацию, проблемы проходящего дня – с философскими вопросами, историческими аллюзиями, за одномерностью аллегории видеть многомерность образа-символа. Конечно же, образ-символ создаёт вокруг себя особое символическое пространство, которое позволяет не только главные образы “Крокодила”, но даже маргинальные прочитывать как многослойные.

Уместно напомнить, как, например, при наложении разных функций меняется образ немца-крокодилщика, тупого, жадного, корыстолюбивого обывателя, на мгновение с помощью своего чудесного крокодила способного стать “русским полковником”, утвердиться своим родом, домом и аптекой в русской земле, как и множество его соотечественников, находящихся, как известно, под особым покровительством русского императорского двора. Фантастико-символические характеристики образа-символа постоянно провоцируют неожиданные ситуации и повороты в сюжете, намечая, как правило, новые возможности для развития сюжетного действия и толкования образов повести.

*Владивосток*



## “ПЕСНИ С ДЕКОРАЦИЕЙ”, ИЛИ РУССКИЙ СТИХОТВОРНЫЙ СКАЗ

И.А. КАРГАШИН,  
кандидат филологических наук

*Светлой памяти  
Владимира Ивановича Бухарина*

Термин “сказ” обозначает несколько различных (отчасти и взаимосвязанных) понятий: и жанр русского фольклора – народные сказания, и всевозможные стилизации народно-поэтического слова (напр., лермонтовская “Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова”), и манеру исполнения сказителями былин. Однако нас будет интересовать другое значение этого термина – сказ как оригинальная форма речевой организации литературного произведения. Сказовый текст строится по принципу имитации устного спонтанного и непринуждённого – собственно разговорного монолога субъекта высказывания – рассказчика. Заметим – именно рассказчика, так как в сказе воссоздаётся “живая” и самобытная речевая деятельность (а тем самым и индивидуальное сознание) не автора, а изображаемого автором героя! Скажем, неавторский характер сказовых монологов очевиден в рассказах Рудого Панька у Н.В. Гоголя или “Рассказах господина Синябрюхова” М. Зощенко, “Бухтинах вологодских” В. Белова.

Впрочем, сказовые произведения в прозе хорошо известны читателям и основательно исследованы специалистами. Показательно, что и сегодня, говоря о сказовом принципе речеведения, учёные имеют в виду, как правило, именно прозаические тексты, а стихотворный сказ обычно не вычленяется из общего понятия “ролевой лирики”. А между тем сказовые произведения в поэзии – не менее интересный и самобытный пласт отечественной литературы. Что же такое русский стихотворный сказ и каковы важнейшие особенности его поэтики?

Если принципом сказа как такового является создание образа “непо-

средственного говорения” какого-либо “социально определённого” (отделённого от автора) лица, то стихотворный сказ предполагает реализацию разговорной речи рассказчика именно в стихотворной форме. Другими словами, стихотворный сказ можно определить как стихотворение, воплощающее чужое сознание в форме разговорного монолога. В качестве образца приведём начало стихотворения А.Н. Апухтина “Перед операцией”:

Вы говорите, доктор, что исход  
Сомнителен? Ну что ж, господня воля!  
Уж мне пошёл пятидесятый год,  
Довольно я жила. Вот только бедный Коля  
Меня смущает: слишком пылкий нрав,  
Идеям новым предан он так страстно,  
Мне трудно спорить с ним; он, может быть, и прав;  
Боюсь, что жизнь свою загубит он напрасно.  
О, если б мне дожить до радостного дня,  
Когда он кончит курс и выберет дорогу.  
Мне хлороформ не нужно: слава Богу,  
Привыкла к мукам я... А около меня  
Портреты всех детей поставьте, доктор милый,  
Пока могу смотреть, хочу я видеть их.  
Поверьте: в лицах дорогих  
Я больше почерпну терпения и силы!..  
Вы видите: вон там, на той стене,  
В дубовой рамке Коля, в чёрной – Митя...  
Вы помните, когда он умер в дифтерите  
Здесь, на моих руках, вы всё твердили мне,  
Что заражусь я непременно тоже.  
Не заразилась я, прошло тринадцать лет...  
Что вытерпела я болезней, горя... Боже!  
Вы, доктор, знаете... А где же Саша? Нет!  
Тут он с своей женой... Бог с нею!  
Снимите тот портрет, в мундире, подле вас ...

Как видим, стихотворение рождает иллюзию обыденного (“непоэтического”) разговора. Этот пример, кроме прочего, любопытен и тем, что опровергает расхожее мнение о разговорной речи как непременно “неправильной” – диалектной, наполненной просторечиями и т.п. Формы разговорной речевой деятельности свойственны и людям, свободно владеющим нормами литературного языка. Поэтому сказ, художественно осваивающий эти формы, вовсе не обязательно должен быть “народным” (крестьянским) сказом.

Конкретный облик воссоздаваемого монолога (его литературный или, напротив, сугубо просторечный характер, стиль речи в целом) зависит от социально-психологического облика говорящего героя – его кругозора, возраста, темперамента, и наконец, – от самой ситуации го-

ворения. Главное, что сказовый текст создаёт художественный образ действительно разговорной речи – не записанной и не подготовленной заранее, а осуществляемой “прямо сейчас”, в процессе непосредственного общения с названным в тексте или подразумеваемым слушателем. Отсюда – и прямые обращения к собеседнику, и “нелинейный” характер развёртывания изображаемого высказывания (паузы, сбивы, повторы в речи и т.п.), и, конечно, активное использование говорящим внесловесных средств общения: мимики, жеста, интонации, направленности взгляда и проч., что так характерно для непосредственного (“с глаза на глаза”) разговора. Ср. своего рода “словесные жесты” рассказчицы у Апухтина: “Вы видите: вон там, на той стене, /В дубовой рамке Коля...”. См. в финале стихотворения: “Мне больно шевельнуть рукой. Перекрестите/Хоть вы меня... Смешно вам, старый атеист,/Что ж делать, Бог простит! Вот так... Да отворите/ Окно. Как воздух свеж и чист!”

Очевидно, что образ спонтанно-непринуждённой речи в стихотворном произведении оказывается более условным, нежели в прозаическом (“в жизни” стихами не разговаривают). Но в то же время, как ни парадоксально, нередко именно стихотворный сказ в большей степени соответствует заданному образу живого сиюминутного разговора. Связано это с его жанровой природой: сказ в стихах обычно реализуется в небольшом по объёму тексте – собственно стихотворении (сказовые поэмы строятся по принципу “нанизывания” речевых партий героев, сопровождаемых монологом повествователя). А это значит, что соответствующий стихотворению “объём высказывания”, ограниченный пространственно-временными рамками, как нельзя лучше отвечает тому, что можно назвать канонической ситуацией общения (см.: Падучева Е.В. Семантические исследования. М., 1996. С. 258–261). Другими словами, художественное изображение здесь наиболее адекватно нормальной, типичной ситуации житейского разговора.

Обратим внимание: полный текст стихотворения “Перед операцией” насчитывает 56 строк. Любопытно вспомнить, что растянувшийся на десятки страниц монолог рассказчика в “Кроткой” потребовал от Ф.М. Достоевского специального авторского предисловия, объясняющего “фантастичность” изображённого говорения.

\* \* \*

Таковы основные черты “общей поэтики” стихотворного сказа. Но, конечно же, самым важным и интересным оказывается вопрос о содержательности этой самобытной художественной формы. Напомним: именно этот вопрос стоял в центре знаменитой полемики М.М. Бахтина с Б.М. Эйхенбаумом в конце 20-х годов – “ради чего вводится сказ?” (см.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. С. 327–329).

Действительно, ради чего автор делает главным предметом художественного изображения разговорный монолог героя, какие конкретные функции способен выполнять такое изображение?

Воплощая “непосредственное говорение” конкретного лица, сказовое произведение прежде всего воссоздаёт его самостоятельное сознание – взгляд на мир, “кругозор” самого говорящего. Потому-то нередко сам рассказчик оказывается и главным героем (объектом читательского рассмотрения) стихотворного сказа. Биография, привычки и вкусы, портрет героя и т.п. – всё это мы узнаём из творимого им рассказа. Например, в стихотворении (без заглавия) И.С. Никитина:

Не смейся, родимый кормилец!  
Кори ты меня не кори –  
Куплю я хозяйке гостинец,  
Ну, право, куплю, посмотри.

Ведь баба-то, слышь, молодая,  
Красавица, вот что, мой свет!  
А это беда небольшая,  
Что лыс я немножко да сед.

Иной ведь и сокол по виду,  
Да что он? живёт на авось!  
А я уж не дамся в обиду,  
Я всякого вижу насквозь!

Соседи меня и поносят:  
Над ним-де смеётся жена...  
Не верь им, напрасно обносят,  
Всё враки, всё зависть одна!

Ну, ходит жена моя в гости,  
Да мне это нуждушки нет,  
Не стать мне ломать свои кости,  
За нею подсматривать вслед.

Я крут! и жена это знает,  
Во всём мне отчёт отдаёт...  
Случится ли, дом покидает, –  
Она мне винца принесёт.

Ну что ж тут? И пусть себе ходит!  
Она вот пошла и теперь...  
О-ох, поясницу-то сводит!  
А ты никому, свет, не верь.

Лукавая усмешка читателя здесь – эстетический результат постижения целостного содержания – освоения “круглого” характера словоохотливого деда.

Художественное запечатление “живого голоса” позволяет увидеть живой, реально-конкретный облик самого говорящего. Несомненно, характерологическая функция оказывается важнейшей в стихотворных сказовых произведениях. Установка на воссоздание личности, психологически достоверного образа рассказчика отчётливо заявлена, например, в стихотворениях Дениса Давыдова “Полусолдат”, И.С. Никитина “Выезд троечника”, И.А. Бунина “Белый цвет”, в песнях-монологах Владимира Высоцкого (“Тот, который не стрелял”, “Банька побелому”, “Милицейский протокол”).

С другой стороны, многие сказовые произведения в поэзии не столько осваивают собственно характер (типаж) субъекта речи – что в полной мере доступно “чистым” эпическим или драматическим произведениям, – сколько выявляют его сиюминутные переживания, эмоциональное состояние или прямые оценки происходящего. При этом формы речевой деятельности выражают обычно моменты наиболее интенсивных психических движений говорящего, так что здесь обнаруживается **лирическая природа** стихотворного сказа. По существу, лирическая основа “запрограммирована” в сказовых стихотворениях, ведь их текст – это субъективный монолог конкретного человека (вспомним классическое определение лирического начала: “...главное здесь – не описание и изображение реального события, лишённые какой-либо субъективности, а, наоборот, способ восприятия и чувство субъекта...” – Гегель. Эстетика: В 4 т. М., 1971. Т. 3. С. 497).

Непосредственное выражение душевных переживаний говорящего героя отчётливо проявляется уже в апухгинском стихотворении “Перед операцией”. Один из первых образцов такой “неавторской лирики” в отечественной литературе – стихотворение Ф.Н. Глинки “Мать-убийца”, написанное в конце 1820-х годов. Но, пожалуй, самый выразительный пример психологических возможностей стихотворного сказа в русской поэзии – “Прерывистые строки” Ин. Анненского. Напомним их начало:

Этого быть не может,  
    Это – подлог,  
День так тянулся и дожит,  
    Иль, не дожив, изнемог?..  
    Этого быть не может...  
С самых тех пор  
В горле какой-то комок...  
    Вздор...  
Этого быть не может...  
    Это – подлог...  
Ну-с, проводил на поезд,  
    Вернулся, и solo, да!

Здесь был её кольчатый пояс,  
 Брошка лежала – звезда,  
 Вечно открытая сумочка  
 Без замка,  
 И, так бесконечно мягка,  
 В прошивках красная думочка...  
 .....  
 Зал...  
 Я нежное что-то сказал,  
 Стали прощаться,  
 Возле часов у стенки...  
 Губы не смели разжаться,  
 Склеены...  
 Оба мы были рассеяны,  
 Оба такие холодные...  
 Мы...

Здесь уже способности сказа “схватывать” личностное, субъективно-прихотливое сознание индивида проявлены с предельной полнотой, недаром современный исследователь называет “литературной родиной” Анненского, наряду с поэзией французского символизма, русскую социально-психологическую прозу, особенно Достоевского (Корецкая И.В. *Иннокентий Анненский // Русская поэзия серебряного века 1890–1917: Антология.* М., 1993. С. 214; об усвоении поэтом опыта психологической литературы XIX века см.: Гинзбург Л.Я. *О лирике.* М., 1997. С. 294).

Особенно ярко лирическая природа стихотворного сказа проявлена в его способности осваивать оригинальные речевые жанры – как правило, малопродуктивные или просто невозможные в прозаических эпических произведениях. Например, *плач* или *жалоба* (см. “Жалоба крестьянки” А.Н. Апухтина, “Слёзная жалоба” Тихона Чурилина, “Плач матери по новобранцу” М. Цветаевой), *молитва* (молитва бобыля в “Осинке” А. Белого, “Раздумья русского солдата Фёдора Микулина” А. Жигулина), *галлюцинации*, *кошмары*, вообще *патологические состояния сознания* (“Сумасшедший” Я.П. Полонского и “Сумасшедший” А.Н. Апухтина, “Кошмары” Ин. Анненского).

В этой связи следует вообще отметить активное использование сказовой формы для передачи “сказанного про себя” – внутренних монологов, “потока сознания” и т.п. По-видимому, именно стихотворный сказ наиболее приспособлен для фиксации свободной и индивидуальной речемыслительной деятельности (ср. также: “Что думает старуха, когда ей не спится” Н.А. Некрасова, “Позднее мщение” А.Н. Апухтина, “Упырь” А.А. Кондратьева).

И всё же в целом сказ (в том числе и стихотворный) может использоваться не только ради освоения личности субъекта речеведения.

Сказ способен осуществлять множество различных художественных заданий, причём полифункциональность его коренится в самой природе изображаемой разговорной речи. Всё дело в том, что реально существует не “разговорная речь вообще”, а многочисленные конкретные формы устного бытового разговора. Так, В.В. Виноградов выделял несколько видов монологического бытового говорения и среди них важнейшие: монолог сообщающего типа (повествовательный), монолог драматический и монолог лирический (Виноградов В.В. *Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика*. М., 1963. С. 20–21). По существу, именно разнообразие художественно осваиваемых форм разговорной речи и делает сказовые тексты полифункциональными. В частности, помимо лирического сказового монолога, выделяются и другие типы стихотворного сказа.

Во-первых, сказ повествующий. В чём его особенности? Стихотворение Н.А. Некрасова “В дороге” позволяет увидеть художественное своеобразие, отличающее все повествовательные тексты стихотворного сказа.

Начало этого произведения:

“Скучно! Скучно!.. Ямщик удалой,  
Разгони чем-нибудь мою скуку!  
Песню, что ли, приятель, запой  
Про рекрутский набор и разлуку (...)”

“Самому мне невесело, барин:  
Сокрушила злодейка жена!..  
Слышь ты, смолоду, сударь, она  
В барском доме была учена  
Вместе с барышней разным наукам,  
Понимаешь-ста, шить и вязать,  
На варгане играть и читать –  
Всем дворянским манерам и штукам.  
Одевалась не то, что у нас  
На селе сарафанницы наши,  
А, примерно представить, в атлас;  
Ела вдоволь и мёду и каши.  
Вид вальжный имела такой,  
Хоть бы барыне, слышь ты, природной,  
И не то что наш брат крепостной,  
Тоись, сватался к ней благородный  
(Слышь, учитель-ста врезамшись был,  
Баит кучер, Иваныч Торопка), –  
Да, знать, счастья ей Бог не сулил:  
Не нужна-ста в дворянстве холопка!”

И – финал его:

“Чай, свалим через месяц в могилу...  
А с чего?.. Видит Бог, не томил  
Я её безустанной работой...  
Одевал и кормил, без пути не бранил,  
Уважал, тоись, вот как, с охотой...  
А, слышь, бить – так почти не бивал,  
Разве только под пьяную руку...”  
“Ну, довольно, ямщик! Разогнал  
Ты мою неотвязную скуку!..”

Своего рода “обрамление” (реплики слушателя, “провоцирующие” и завершающие монолог) здесь, конечно, не случайно. Оно служит дополнительным сигналом, указывающим на жанр изображённого монолога: рассказ ямщика. Подобные обрамления, вообще свойственные сказу, особенно характерны именно для повествовательного сказа (а при его отсутствии эту функцию берут на себя заголовки, ср.: “Рассказ лейтещика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру” и “Рассказ рабочего Павла Катушкина о приобретении одного чемодана” у В. Маяковского, “Рассказ танкиста”, “Со слов старушки” А.Т. Твардовского и т.п.).

Разумеется, воссоздание монолога ямщика у Некрасова выполняет отчасти и характерологическую функцию – чего стоит, например, его простодушное недоумение по поводу “беспричинного” увядания молодой жены. По существу, сфера характерологии с неизбежностью затрагивает сказовое произведение, поскольку индивидуальная манера речи всегда “рассказывает” о самом рассказчике. И всё же, бесспорно, в центре стихотворения – история русской женщины, горькая судьба “барышни-крестьянки”. Сказовый же способ освоения этой истории (рассказ “изнутри” – от имени свидетеля и участника описываемых событий) резко усиливает достоверность изображаемого, одновременно придавая произведению в целом необходимый автору эмоциональный тон – обыденной безысходности жизненной драмы.

Между прочим, с теми же художественными целями вводится сказовый принцип “рассказывания” в самом известном в русской поэзии сказовом произведении – стихотворении Лермонтова “Бородино”. И здесь достаточно отчётливо проявлена не только социальная, но и индивидуально-психологическая определённости рассказчика – старого артиллериста, однако фигура непосредственного участника исторического сражения прежде всего подчёркивает подлинность рассказываемого события – главного объекта авторского изображения. Ещё более выразителен другой пример, вовсе не хрестоматийный – небольшое стихотворение М. Цветаевой. Стихотворение не имеет заголовка, но зато снабжено совершенно необходимым здесь авторским “послесловием”.

И зажѣг, голубчик, спичку.  
 – Куды, матушка, дымок?  
 – В двери, родный, прямо в двери, –  
 Помирать тебе, сынок!

– Мне гулять ещё охота.  
 Неохота помирать.  
 Хоть бы кто за меня помер!  
 ...Только до ночи и пожил.

*(Рассказ владимирской няни Нади)*

Наиболее полное 7-томное издание сочинений М. Цветаевой не даёт никаких комментариев по поводу этого стихотворения, однако очевидно, что перед нами не стилизация “социально определённого” – народного говора, а попытка точно, “буквально” передать осевший в памяти (и, чувствуется, поразивший воображение поэта) реальный рассказ владимирской крестьянки (см.: Цветаева М.И. Собр. соч.: В 7 т. М., 1994. Т. 4. С. 146–147) о реальном происшествии. В данном случае сказовая форма уже не просто создаёт “иллюзию достоверности”, но прямо мотивирована документальной основой стихотворения.

Тем более плодотворно “работает” имитация повествовательного разговорного монолога в стихотворных текстах, осваивающих многофабульные события, развёрнутые во времени и пространстве. Образцы такого сказа в классической русской поэзии – повести-сказки В.А. Жуковского “Овсяный кисель” и “Красный Карбункул” (вольный перевод стихотворных произведений немецкого поэта И.-П. Гебеля), поэма В. Кюхельбекера “Сирота”, стихотворная “быль” Л. Мея “Оборотень”. Сказовый принцип повествования в таких произведениях, помимо прочего, оказывается “удобным” способом развития сюжета, так как разговор рассказчика естественно и непринуждённо перекладывается с одной темы на другую, связывая воедино разнообразные “фабульные ходы”. Так создаётся художественный образ неспешной и размеренной беседы рассказчика со слушателями. Не случайно Жуковский в своих переводах из Гебеля обратился к русскому гекзаметру (то есть белому 6-стопному дактилю с женскими окончаниями, в любой стопе которого возможна замена дактиля хореем). Сам поэт в предисловии к “Красному Карбункулу” отмечал, что “...желал испытать (<...>) прилично ли будет в простом рассказе употребить гекзаметр, который доселе был посвящён единственно важному и высокому?” (Жуковский В.А. Собр. соч.: В 3 т. М., 1980. Т. 2. С. 480). Ср. начало рассказа дедушки:

Кровелькой трубку закрыл и сказал: “Послушайте, дети,  
 Будет вам сказка; но с уговором – дослушать порядок;  
 Слова не молвить, пока не dokonчу; а ты на печурке  
 Полно валяться, ленивец; опять, как в норе, закопался;  
 Слезь, говорят. Ну, дети, вот сказка про *красный карбункул*”.

Остаётся добавить, что традиция эпического рассказа жива и в современной русской поэзии (см., например сказочные стихотворные повести “Гениальный палач” В. Антонова и “Мёртвая голова” А. Дидурова). И – ещё об одной уникальной способности повествующего сказа. “Рассказывание” от лица персонажа лишает текст прямого “авторского вмешательства”. Поэтому сказ обладает прекрасными возможностями для “детективного” сюжетостроения. Это демонстрирует, например, стихотворение Иосифа Бродского “Посвящается Ялте”. В основе его фабулы – расследование таинственного убийства. При этом стихотворение строится как чередование признаний подозреваемых (5 главам стихотворения соответствуют 5 “голосов” рассказчиков). Разумеется, у каждого из них свой взгляд на происшедшее и свои мотивы поведения, так что “установление истины”, по замыслу автора, оказывается делом (весьма нелёгким!) самого читателя. По всей видимости, не обходится здесь и без игры с “проницательным читателем” – вспомнит ли он классическую новеллу Акутагавы “В чаще”, построенную таким же образом! Заметим, кстати, что в современной отечественной прозе так же выстраивает повесть “Колечко” Михаил Веллер – между прочим, поклонник таланта японского мастера.

*Окончание следует*



**“...МУХЕ ЗЛА НЕ СДЕЛАЕТ!”****Разговорно-бытовые фразеологизмы  
в прозе Салтыкова-Щедрина***Б. И. МАТВЕЕВ*

В арсенале художественно-изобразительных средств М.Е. Салтыкова-Щедрина большое место занимают разговорно-бытовые фразеологизмы. Широкое использование писателем разговорной лексики, в первую очередь устойчивых словосочетаний, определялось экспрессивностью народных выражений, их красочностью и образностью.

Творчески развивая традиции Н.В. Гоголя, Салтыков-Щедрин обращается к народной речи как к неиссякаемому источнику меткости, точности и колоритности языка. Семантическая двуплановость, повышенная экспрессивность и образность фразеологизмов помогли автору “Господ Головлёвых” с наибольшей силой выразить отношение к изображаемому: любовь к народу и ненависть к тем, кто паразитирует за его счёт.

Неизменная вера в народ не мешала Салтыкову-Щедрину зло высмеивать его отрицательные стороны, что привело к односторонней трактовке художественного дарования великого писателя как исключительно сатирического. Произведения Салтыкова-Щедрина, поэтизирующие высокие нравственные черты характера русского человека (религиозность, сострадание к обездоленным, доброта и др.), замалчивались критикой. Между тем положительные герои писателя – представители трудового люда. Их души широко открыты добру, правде и свету.

К словам и оборотам живой народной речи Щедрин прибегает при характеристике персонажей, среды их обитания, в публицистических рассуждениях по поводу описанного. Например, “Второй рассказ подъячего” из цикла “Губернские очерки”, открывшего хронику русской общественной жизни, созданную писателем, начинается словами: “А вот городничий у нас был (...) подлинно гусь лапчатый...” И далее: “Начальство наше всё к нему приверженность большую имело, потому как, собственно, он из воли не выходил и всё исполнял до точности: иди, говорит, в грязь – он и в грязь идёт, в невозможности возможность найдёт, из песку верёвку совьёт, да ею же кого следует и удавит” (Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 10 т. М., 1988. Т. 1. С. 48; далее – только том и стр.). Немного, кажется, сказано о персонаже, а портрет

получился полным: ни убавить, ни прибавить. Просторечное словосочетание *гусь лапчатый* – это пройдоха, ловкач, а *из песка верёвки вьёт* – так говорят про скрягу и изворотливого человека, способного на что угодно.

В том же цикле, в очерке “Лузгин” фразеологизм употребляется для описания преимуществ семейной жизни: “– Если хочешь кататься как сыр в масле и если сознаёшь в себе способность быть сыром, так это именно масло – супружеская жизнь!” (1, 323). *Кататься как сыр в масле* означает жить в довольстве, имея всё в изобилии.

Излагая своё кредо, состоящее в утверждении того, что “в добре вся сила жизни, в добре замыкается весь её смысл” (3, 13), Щедрин пишет: “Поэтому, ежели вы видите человека, который с нетерпением относится ко всякой несправедливости, хотя бы она и не касалась его лично, который чужое горе считает своим собственным горем, чужую беду своею собственною бедою, которого горячее сердце откликается всякому доброму начинанию, всякому душевному слову, к телу которого близка не одна своя рубашка, но и рубашка ближнего, не спешите говорить про него: вот человек взбалмошный, строптивый и неучтивый, который суёт свой нос, куда его не спрашивают!” (3, 12–13).

Экспрессивность сказанного определяется не только параллелизмом в расположении придаточных предложений, звукописью (определение сближено по звучанию с определяемым словом: *считать своим собственным горем, всякое слово, совать свой нос*), но и наличием разговорно-бытовых фразеологизмов: *своя рубашка ближе к телу; совать нос, куда его не спрашивают*.

Слова, входящие в фразеологический оборот, нередко претерпевают морфологические изменения: глагол употребляется в форме причастия, деепричастия, отглагольного существительного. Вот несколько иллюстраций сказанного: “Таковы, например, все так называемые либеральные настроения, о которых следует раз навсегда сказать себе, что это настроения скоропреходящие, не стоящие ломаного гроша” (3, 373); “Проникнув в известные сферы, из которых, как из некоего водохранилища, изливается на Россию многоводная река помпадурства, Феденька, не откладывая дела в долгий ящик, сболтнул хлесткую фразу, вроде того, что Россию губит излишняя централизация, что необходимо децентрализовать, то есть эмансипировать помпадуров, усилив их власть...” (2, 181–182); “Что скажет о нас потомство! Оно скажет: это были люди, по милости которых мы до сих пор занимаемся толчением воды, тогда как мы были бы уже в самом центре пирога, если бы предварительная работа была ими исполнена своевременно и неуклонно” (3, 445). Разговорно-бытовое словосочетание *толочь воду (в ступе)* означает попусту тратить время. Писатель использует его в усечённом виде, причём глагол заменяет отглагольным существительным, что придаёт высказыванию свежесть и яркость.

Фразеологизм в форме деепричастного оборота служит не только для уточнения высказываемой мысли. Одновременно он оживляет предложение, повышает его эмоциональное воздействие на читателя. Например, осмеивая трусость и словоблудие либералов и мало чем отличающихся от них ретроградов, Щедрин в “Дневнике провинциала в Петербурге” несколько видоизменяет просторечное выражение *показать кому-нибудь кукиш в кармане* (о трусливом, робком выражении несогласия или угрозы), что сообщает предложению большую экспрессию: “Словом сказать, вопрос за вопросом, их набралось такое множество, что когда поступил на очередь вопрос о том, насколько счастлив или несчастлив человек, который, не показывая кукиша в кармане, может свободно излагать мнения о мероприятиях станковых приставов (по моему мнению, и это явление имеет право на внимание статистики), то Прокоп всплеснул руками и так испугался, что даже заговорил по-французски” (4, 210).

Иногда сатирик обновляет структуру устойчивого словосочетания, распространяя его членами предложения, относящимися к тому или иному слову. В результате повышаются выразительные возможности фразеологизма. В словосочетании *подлить масла в огонь* дополнение употребляется с определением: “– Этак он, братцы, всех нас завинит! – догадывались глуповцы, и этого опасения было достаточно, чтобы подлить масла в потухавший огонь” (2, 351–352). Таким же способом изменяется пословица в одном из законов, начертанных градоначальником города Глупова ещё в годы учёбы в семинарии: “Всякий сверчок да познает соответствующий званию его шесток” (2, 397). В “Словаре” Даля эта пословица сформулирована проще, без определений: “Знай сверчок свой шесток”.

Введение новых слов позволяет конкретизировать обобщённое значение фразеологизма, применить его к вполне определённой ситуации: “Помпадур растерялся и начал разводить на бобах какую-то канцелярскую чепуху” (2, 62). *Разводить бобы* означает заниматься пустыми разговорами. Авторское дополнение “какую-то канцелярскую чепуху” конкретизирует фразеологизм, делает его действенным средством характеристики градоначальника.

Наряду с определениями и дополнениями нередко вводятся обстоятельства образа действия и другие, придающие высказыванию более динамичный характер: “Фавори наострил уши сугубо” (2, 103); “Искали, искали они князя и чуть-чуть в трёх соснах не заблудились...” (2, 300); “В чём мать на свет родила” (2, 222).

В ряде случаев писатель заменяет один из компонентов структуры другим, близким по значению. Фразеологизм в результате этого освежается, звучит выразительнее. Таким способом трансформируются словосочетания *как сонные мухи* и *крокодиловы слёзы*: “Они слонялись по городу, словно отравленные мухи...” (2, 336). «Менандр ступше-

вался. Не успев совладать с “разнузданностью в похвалах”, он до того раздражил своими “наглыми” усилиями попасть в тон минуты (“всё это одно крокодилово притворство!” – говорил про него статский советник Растопыриус), что вынужден был уступить место другим, более спортивным деятелям» (4, 350).

Нередко обновлению подвергаются глаголы, входящие в состав словосочетания. О замыслах градоначальника Фердыщенко совершить путешествие по окрестностям Глупова, которые никаких достопримечательностей, кроме навозных куч, не имели, летописец сообщает: “Он вообразил себе, что травы сделаются зеленее и цветы расцветут ярче, как только он выедет на выгон. (...) и лелеял свой план пуще зеницы ока” (2, 365). А вот пример видоизменения того же фразеологизма (*беречь как зеницу ока*): «А мы именно хотим только созидать, и потому блюдем нашу “свежесть” паче зеницы ока» (3, 69).

Исправник, рекомендуя нового помпадур фаворитке вместо прежнего, говорит: “– Чего же вы боитесь? (...) Напрасно-с! он у нас вот как: мухе зла не сделает!” (2, 58). Здесь несколько видоизменён разговорно-бытовой фразеологизм *мухи не обидит*, рисующий образ кроткого, безобидного человека.

Реже изменению подвергается подлежащее: “Но не верьте этой улыбке, ибо я знаю наверное, что на сердце у него скребут мыши” (4, 307).

При усечении фразеологизма Щедрин сохраняет в нём ключевое словосочетание, которое в новом лексическом окружении приобретает ещё большую выразительность. Именно по такому принципу свернуты разговорно-бытовые речения *не стоит выеденного яйца* (о чём-либо, не имеющем никакого значения, не заслуживающем внимания), *держат в ежовых рукавицах* (держат кого-либо в строгом повиновении, очень строго и сурово обходиться с кем-либо), *бразды правления* (высокая власть, управление), некоторые пословицы, например, *ласковый телёнок двух маток сосёт*.

О служебной карьере Молчалина, героя сатирического цикла “Господа Молчалины”, Щедрин пишет: “Очевидно, он своё выстрадал и сумел сделаться настолько необходимым, что ему, преимущественно перед другими, поручались щекотливые дела о выеденном яйце” (3, 385).

Неуютно русскому человеку за рубежом; по словам писателя: “Везде он чувствует себя в каком-то необычном положении, везде он недоумевает, куда ж это ежовые-то рукавицы девались? и везде у него сердце болит. Болит не потому, чтоб ежовые рукавицы оставили в его уме неизгладимо благодарные воспоминания, а потому что вслед за вопросом о том, куда девались эти рукавицы, в его уме возникает и другой вопрос: да полно, нужны ли они?” (7, 182).

План Младо-Сморчковского сделаться градоначальником... а быть может, и министром состоял в следующем: “...во-первых, покинуть от-

чий дом; во-вторых, объявиться начальству и откровенно изъяснить ему свои виды и предположения и, в-третьих, заявить решительное намерение не выпускать бразды из рук, покуда хоть один враг останется налицо” (3, 35).

А вот пример усечения пословицы при характеристике центрального персонажа рассказа “Старческое горе...”: “Вероятно, отец его был тоже нрава достопознательного и чувствовал себя хорошо в роли ласкового теляти – и это в значительной степени помогло молодому Каширину” (4, 358).

Живописность разговорных структур повышается и другими способами. В одних случаях фразеологизм поясняется конкретным примером, в частности, *полная чаша* (зажиточный, богатый – о доме): “Перед моими глазами не только ежедневно, но ежечасно, ежеминутно происходил тот кропотливый процесс, при помощи которого создается так называемая полная чаша. Я видел эту полную чашу во всех её проявлениях: в амбарах, наполненных всякого рода хлебом, в погребах и кладовых, на скотном дворе, в плодовых садах и проч.” (6, 299).

В других – употребляется одновременно и в переносном значении и в буквальном, как в случае с выражением *сломя голову* (очень быстро): “Мы только не хотим бежать вперёд сломя голову, потому что ежели все побегут и от того сломают головы, что может из сего произойти, кроме несвоевременной гибели?” (4, 48).

В третьих – только в прямом смысле. Колоритна фигура Василиска Бородавкина во сне: “Даже спал только одним глазом, что приводило в немалое смущение его жену, которая, несмотря на двадцатипятилетнее сожительство, не могла без содрогания видеть его другое, недремлющее, совершенно круглое и любопытно на неё устремленное око” (2, 370). В четырёхтомном “Словаре русского языка” (М., 1982. Т. II) на стр. 441 читаем: “*недреманное око* (ирон.) – о бдительном, неусыпном надзоре, наблюдении”. Щедрин расширяет словосочетание, а главное, применяет его в буквальном смысле, что придаёт сцене необычайную живописность.

Излюбленный приём Щедрина – так называемая градация – расположение слов или словосочетаний, при котором каждое последующее заключает в себе усиливающееся смысловое или эмоционально-экспрессивное значение. В этот ряд синонимов вводятся фразеологизмы, сообщающие градации особую экспрессию: “Очевидно было, что он собрался прочитать нам предиду, но с таким при этом расчётом, что он будет и разглагольствовать, и на богах разводиться, а мы будем слушать да поучаться” (5, 121).

В разговоре двух подростков *Мальчик без штанов* отвечает своему собеседнику: “Да, скучно. Мямлишь, канитель разводись, слюнями давишься” (7, 35). Порою синонимический ряд состоит исключительно из фразеологизмов, что придаёт высказыванию особый динамизм: “За

двугривенный человек рисковал, что его и в бараний рог согнут, и в табак сотрут, и туда зашвырнут, куда вброн костей не заносил!” (7, 110).

Нередко для повышения выразительности текста в него помимо разговорных фразеологизмов вводятся антонимы: “Напротив того, советник казённой палаты мог не только гнушаться убийцами, но просто имел право сидеть сложа руки и, как говорится, ждать у моря погоды – и ни десница, ни шуйца его от того не оскудевали” (3, 319). И ещё аналогичный пример: “Они день и ночь изнемогают здесь, копаясь в некоем месиве, в котором и сами ничего другого не разберут, кроме того, что тут когда-нибудь чёрт ногу сломит” (3, 367).

Щедрин часто прибегает и к такому приёму оживления и обновления значения широкоупотребительных словосочетаний, как сближение далёких, несближаемых, казалось, речевых средств: книжных слов с просторечными, официально-канцелярской лексики с литературной и т.д. Так, в “Дневнике провинциала в Петербурге”, характеризую ретрограда Петра Ивановича Дракина, писатель использует грубое просторечное выражение *не вышла рылом* (не подходит, не годится) применительно к одному из самых поэтических образов античной мифологии – Эвридике: “Он малый покладистый, и художественные его требования в этом смысле очень умеренны. Была бы Эвридика, а там, вышла ли она рылом или не вышла, – это для него несущественно” (4, 301).

В рассказе “Старческое горе...” голова Медузы (крылатое чудовище в древнегреческой мифологии в виде женщины со змеями вместо волос) сопоставляется с посконным рылом обывателя: «Он с инстинктивным ужасом взглянул на своих “друзей”, как будто перед ним стояла страшная голова Медузы, а не посконное рыло начинённого галушками полтавского обывателя» (4, 392). И в том, и в другом примере лексика античной мифологии оттеняет и обостряет восприятие просторечных слов.

Для разъяснения читателю значения некоторых разговорно-бытовых фразеологизмов Щедрин порою создаёт колоритные зарисовки: “Возьмём для примера хоть одно такое выражение: согнуть в бараний рог. Что нужно сделать, чтобы выполнить эту угрозу? Нужно перегнуть человека почти вчетверо, и притом так, чтобы головой он упирался в живот, и чтоб потом ноги через голову перекинулись бы на спину. Только тогда образуется довольно правильное кольцо, обвившееся само около себя и представляющее подобие бараньего рога. Возможно ли подобное предприятие? – по совести, это сказать нельзя. Я уверен, что человек умрёт немедленно, как только начнут пригибать его голову с теми усилиями, какие необходимы для подобной операции” (3, 95).

Болью и горечью проникнуты строки писателя о наличии в русском языке речений, порождённых многолетним угнетением народа, попранием элементарных прав человека сильными мира сего: “Выше лба

уши не растут!"; "Знай сверчок свой шесток"; «"Пятое колесо в колеснице" – кто первый выдумал это чудовищное сравнение?» (4, 421). "Каждый из этих афоризмов утверждался на костях человеческих, запечатлён кровью, имеет за собой целую легенду подвижничества, протестов, воплей, смертей. Каждый из них поражает крайней несообразностью, прикрытой, ради приличия, какой-то пошлой меткостью, но взгляните в эту пошлость поглубже, и вы наверное увидите на дне её целый мартиролог" (4, 417).

В произведениях Щедрина встречаем литературных героев других писателей, его предшественников и современников: Фонвизина, Грибоедова, Гоголя, Островского, Сухово-Кобылина. Некоторые из них даже являются главными персонажами романов и очерков сатирика, например, "Современной идиллии" и "Господ Молчалиных". Выступая в других социально-бытовых условиях, они действуют сообразно основным чертам характеров, которыми были наделены своими создателями. Одновременно в их поведении проступают новые черты, заложенные в их натуре, но не раскрывшиеся полностью раньше и поэтому не бросившиеся в глаза читателю. Недаром Достоевский признавался, что только с появлением "Господ Молчалиных" он "понял как следует один из самых ярких типов" комедии Грибоедова (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1981. Т. 23. С. 144).

Точно так же, творчески, обходится Щедрин с разговорно-бытовыми фразеологизмами. Как и литературные персонажи других авторов, они в произведениях великого сатирика обретают вторую жизнь. Обновлённые и оживлённые путём ряда приёмов, о которых мы говорили, народные изречения становятся ярче, колоритнее, повышают экспрессивность стиля писателя.

На основе некоторых из них Щедрин творит по сути совершенно новые, не менее выразительные, чем те, которые послужили им моделью. Таковы словосочетания, созданные по мотивам "заплетных" афоризмов, – *показать Кузькину мать* (кому; *груб., прост.* – употребляется как выражение угрозы кому-либо) и др. Помимо этого выражения, зафиксированного словарями русского языка, в произведениях Щедрина находим целый ряд других, в которых ключевыми словами являются *Кузькин* и его родственницы, а семантика остаётся прежней: "Знаете, как Кузькину мать зовут – и довольно..." (3, 484); "Вот уж прослышит об вашем самохвальстве купец Колупаев, да quibus auxiliis (с чьей помощью? – *лат.*) и спросит: а знаете ли вы, робята, как Кузькину сестрицу зовут? И придётся вам на этот вопрос по сущей совести ответ держать" (7, 17).

В очерках "За рубежом" *Мальчик без итанов* рассказывает *Мальчику в итанах*, что его дядя Кузьма променял родного отца на кобеля (7, 36).

Столь же разнообразны варианты фразеологизма "Куда Макар те-

лят не гонял”. В “Словаре русского языка” (Т. II. С. 216) он сопровождается пометой *ирон.* и толкуется как чрезвычайно далеко, в очень отдалённое и глухое место. Ироничность речения подчёркивается семантикой имени Макар – от греческого: *счастливый, блаженный*.

Салтыков-Щедрин использует этот “заплечный” фразеологизм как в традиционном виде, так и в трансформированном, не меняя его значения: “Как термин отвлечённый, Ташкент есть страна, лежащая всюду, где бьют по зубам и где имеет право гражданственности предание о Макаре, телят не гоняющем” (3, 90); “Только я один, бедный Макар, и остался” (3, 397); “Ему метресса изменила, а я из-за этого должен с Макаровыми телятами знакомство сводить! На что похоже!” (3, 400); “Прощайте! я на днях туда нырну, откуда одна дорога: в то место, где Макар телят не гонял!” (5, 418); “– Ну, там, глядя по человеку. Ежели человек в книге живота не записан – простят, а ежели чего паче чаяния – в пастухи определят, вместе с Макаром телят пасти велют” (5, 543); “И, прежде всего, следующее: что же, однако, было бы хорошего, если б сарматы и скифы и доднесь гоняли бы Макаровых телят?” (7, 289).

Особую колоритность подобные выражения приобретают, когда употребляются в сочетании с иностранными словами или в ряду других разговорно-бытовых фразеологизмов, близких по своему значению. Например: “Выражения: согнуть в бараний рог, стереть с лица земли, вырвать вон с корнем, зашвырнуть туда, куда Макар телят не гонял, – никогда не принимались им серьёзно. (...) Он был убеждён, что даже в простом разговоре нелишне их избегать, чтобы как-нибудь по ошибке, вследствие несчастного lapsus linguae (обмолвки. – *лат.*), в самом деле кого-нибудь не согнуть в бараний рог” (5, 285).

Или: «Но ни малейшего намёка ни на то, что “здесь стригут, бреют и кровь отворяют”, ни на “бараний рог“, ни на “Макара, телят не гоняющего” – ничего!» (3, 480).

Многообразны приёмы использования Салтыковым-Щедриным разговорно-бытовых фразеологизмов. Как и другие лексические средства языка, они выполняют в его произведениях смысловую и эмоциональную функцию. Из огромной сокровищницы великого русского языка Щедрин выбирал необходимые слова и устойчивые сочетания, с их помощью добиваясь точной и образной художественной речи.



## ОБЫКНОВЕННЕЙШИЙ КРОКОДИЛ!

О.А. ЛЕКМАНОВ,  
кандидат филологических наук

**Серебряков.** Утром поищи в библиотеке  
Батюшкова. Кажется, он есть у нас.

**Елена Андреевна.** А?

**Серебряков.** Поищи утром Батюшкова. Помнится, он был у нас.

*А.П. Чехов. “Дядя Ваня”*

Своей судьбы родила крокодила

Ты здесь сама...

*Вл. Соловьёв. “На небесах горят паникадила...”*

В недавно опубликованной работе И.З. Сермана был выявлен весьма нетривиальный подтекст одного из фрагментов чеховского водевиля “Медведь” – трагедия А.К. Толстого “Царь Фёдор Иоаннович” (см.: Серман И.З. Одна из неопознанных пародий Чехова // Тыняновский сборник. Вып. 10. М., 1998. С. 139–142). Столь же неожиданный подтекст к другому фрагменту пьесы Чехова будет предложен в нижеследующей заметке.

Прочитируем сначала знаменитый монолог чеховского помещика Смирнова, посвящённый изобличению женского коварства: “Довольно! Очи чёрные, очи страстные, алые губки, ямочки на щеках, луна, шёлпот, робкое дыханье – за всё это, сударыня, я теперь и медного гроша не дам! (...) Посмотришь на иное поэтическое создание: кисея, эфир, полубогиня, миллион восторгов, а заглянешь в душу – обыкновеннейший крокодил!” (Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1978. Т. 11. С. 303).

Легко распознаваемые цитаты из романа “Очи чёрные” и стихотворения Афанасия Фета “Шёлпот. Робкое дыханье...” соседствуют здесь с чуть тщательнее замаскированной реминисценцией из “Счастливец” Константина Батюшкова:

Сердце наше кладезь мрачной;  
Тих, покоен сверху вид;  
Но спустись ко дну... ужасно!  
Крокодил на нём лежит!

Выходит, что помещик Смирнов вовсе не такой уж “монстр, медведь, бурбон”, каким он хочет казаться. Самая его прозаичная реплика на поверку оказывается цитатой из проникновенного лирика Константина Батюшкова.

---

---

## *Отвечаем любознательным*

---

---

### Стушеваться

Слово, употребляемое в значении “замолкнуть, сникнуть, незаметно, украдкой скрыться” введено в литературную речь Ф.М. Достоевским. Впервые оно появилось в его повести “Двойник” в 1846 г.: “Машинально осмотрелся кругом: ему пришло было на мысль как-нибудь, этак под рукой, бочком, втихомолку улизнуть от греха, этак взять – да и стушеваться” (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972. Т. 1. С. 135).

Позднее в “Дневнике писателя” за 1877 год Достоевский рассказывал, что слово это первоначально употреблялось его однокурсниками по Главному инженерному училищу, которым постоянно приходилось заниматься оттушевыванием различных планов и чертежей.



### **Языковая политика в школе на пороге XXI века**

Городская экспериментальная площадка Московского комитета образования “Пушкинское слово”, созданная с целью научно-практической разработки перспектив гуманитарного образования в XXI веке, подготовила силами педагогов и филологов для широкого общественного обсуждения “Концепцию языковой политики в школе на пороге XXI века”, которая и предлагается вниманию наших читателей.

Значение XX века в целом будет объективно оценено человечеством лишь в следующем тысячелетии. Но роль его в области культуры, особенно языковой и речевой, в России на рубеже веков проявлена с достаточной определенностью: глобальное падение языковой культуры во всех слоях общества. Прогрессивная общественность бьет тревогу по этому поводу в течение нескольких десятилетий, пытаясь бороться с нарастающей агрессией современного “новояза”, навязываемого подрастающему поколению всей мощью массовой информации и мутной рыночной стихией.

Общеизвестно, что у всякой исторической эпохи свой идеал достоинства человека и красоты речи. И каждая эпоха вносит в “живой как жизнь”, постоянно обновляющийся язык свой драгоценный вклад, кристаллизующийся в нем на века, храня этот великий дар Божий как самое дорогое достояние народа, нации. Не случайно пробуждение национального самосознания у народов, составляющих бывший СССР и населяющих Россию, началось именно с реанимации полузадушенных национальных языков. В результате возникла великая языковая война, закономерно подкрепляемая битвой религий, составляющих корни национальных культур. Национальная интеллигенция и активно действу-

ющие ответственные политики стряхивают пыль с вековых хартий истории, доказывая величие и самобытность языка нации – ведь без языка нет нации, и это всем понятно.

Какова же языковая политика государства Российского в отношении русского языка, о котором великий Ломоносов еще почти три века тому назад писал: “Повелитель многих языков, язык российский, не токмо обширностью мест, где он господствует, но и купно и собственным своим пространством и довольствием велик пред всеми в Европе”. Будучи живым и развивающимся по собственным законам, язык самоочищается и совершенствуется во все времена.

XVIII век укрепил грамматический фундамент русского языка, вывел его на широкий путь Просвещения, широко распахнул двери языку художественных произведений.

Просвещенный XIX век, открывший эпоху “научного гуманизма” с его единой картиной мира и человека, внес в русский язык особый стиль научности речи на принципах проблемности, новизны, рациональности и гуманизма, развил и сохранив красоту и ценность художественной, документальной, судебной и политической речи. В постоянной борьбе между славянофилами и западниками, русский язык развивался нормально и интенсивно. Золотым слитком воссиял из этой бурной эпохи пушкинский язык – опора и надежда всех людей, которым дорога и близка русская культура.

Какой же вклад в сокровищницу русского языка внес уходящий XX век?

Еще с самого начала поэты-футуристы и другие новаторы пытались революционным путем обновить русский язык, изменить его фонетический, лексико-семантический и синтактико-интонационный строй в духе грядущей революции. Красота и высота стиля стали третироваться как высокопарные и фальшивые, чуждые новому времени. Чтобы совсем нивелировать и обезличить литературный язык, был введен настоящий цензурный запрет на такие высокие слова, как *наитие*, *символ*, *вдохновение*, *благородство*, *интуиция*, *озарение*, *откровение*, *инобытие*, *таинство* и т.п. Нечего и говорить, что на пути таких вечных слов, как *Бог*, *Богородица*, *Ангел*, *милосердие* и т.п., возникал прочный шлагбаум в виде цензуры печатных изданий. Ведь язык, сознательно заниженный, усеченный, не терпел наличия своего антипода, жалдал равенства, обезлички.

И все же великая стихия русского языка прорывалась светлыми родниками в речи оставшихся интеллигентов, прекрасных русских писателей, которые продолжали писать зачастую “в стол”.

Однако была и другая угроза со стороны “языковой политики” советского государства. И пронесткала она из коренной функции русского языка в многонациональном государстве – быть языком межнационального общения. И хотя в этой его миссии в принципе ничего худого

нет, однако постепенно, под влиянием яростно проводимой языковой политики стало исчезать понимание самоценности русского языка, его коренной связи со всей русской культурой, религией, историей, художественной литературой. И наш “великий и могучий”, систематически и целенаправленно искажаемый ради нужд межнационального общения всеми народами до рыночного, бытового и газетно-бюрократического, стал и для русских людей “языком межнационального общения”.

Школа же, зажата в тиски задачей всеобщей грамотности, вообще свела изучение языка к орфографии и пунктуации, чем окончательно подорвала интерес к нему. Тем более, что выполнение этой задачи ей оказалось не под силу, в результате мы имеем безграмотную и равнодушную к русскому языку молодежь.

Таким образом, картина развития русского языка в XX веке была бы совсем плачевной и безнадежной, если бы не феномен 60-х годов, когда началось оттаивание нашего общества после “ледникового периода” казарменного социализма. Писатели и филологи сразу же начали активно и энергично проявлять внимание к проблемам культуры языка и речи. Поток хлынул в прорыв плотины публикации о культуре речи, выразительности и точности слова, воспитании словом.

В наши дни важно подчеркнуть необходимость современного понимания языковой политики. Прежде всего, языковая политика есть не что иное, как “руководство социальными лингвистическими нуждами” (по словам проф. Г.О. Винокура). Направление языковой политики формируется на основе научного понимания закономерностей развития литературного языка. Поскольку русский язык является важнейшей (точнее сказать, самой необходимой) частью духовной культуры всего народа России, он должен находиться под защитой государства как объект национальной безопасности.

25 октября 1991 г. был принят Закон о языках народов Российской Федерации, в котором русский язык впервые в наше время объявлен государственным. Разработана Федеральная программа поддержки русского языка. В ней язык рассматривается в трех главных аспектах: русский язык как государственный, как национальный и как мировой. В последнем случае имеются в виду функции русского языка на международной арене. Важна роль государства и в деле организации преподавания русского языка, создания гуманитарных учреждений, их устройства и финансирования, что также составляет важнейшую часть поддержки русской культуры, науки и языка.

И все-таки сделано еще очень мало. Желание противостоять бездуховности, очевидному падению нравственной и речевой культуры заметно только у небольшой части нашей интеллигенции – некоторых писателей, ученых, учителей и духовенства. К сожалению, среди них почти нет журналистов.

Большим успехом пользовались радиопередачи под рубрикой

“Культура речи”. Эта же тема широко была представлена во всех журналах и газетах. В 60-е годы появился специальный научно-популярный журнал “Русская речь”, хорошо известный широкой публике. Люди ринулись раскупать различные словари, уповая на возвращение через них утраченной языковой культуры.

Школа в эти годы тоже стала со скрипом поворачиваться к “развитию речи”, выразительному чтению, риторике, словом, всему тому, чего мы лишились еще в 30-е годы... Но переворота не произошло – слишком глубоки были разрушительные изменения, слишком слабы оказались общественные потуги и усилия школы.

Что же принесли русскому языку бурные общественные процессы последнего десятилетия XX века?

Обобщенно можно констатировать: русский язык гоним и притесняем во всех бывших братских республиках вместе с их носителями и учителями.

Государственная политика недостаточно эффективна, о чем свидетельствуют бесконечные межнациональные конфликты и даже войны. В школах вопиющая безграмотность и ненависть к русскому языку как учебному предмету достигли катастрофических размеров, приводя в уныние и отчаяние учителей, униженных и этим безразличием, и экономически... Писательской общественности не до проблем языка – никто не выступает в его защиту от рыночно-уголовной грязи и неоправданного засилья иностранной лексики и даже интонации. Радио и телевидение вытеснили со своих каналов все передачи о русском языке (нельзя же принимать всерьез жалкую игрушечную картинку на канале “Культура!”). Журналы один за другим прекращают свое существование, а газеты забыты сомнительными “сенсациями” и скандалами. С такими результатами и “достижениями” мы вступаем в новое тысячелетие с Рождества Христова.

Московские учителя, поддержанные департаментом образования и Правительством Москвы, разработали свою стратегию возрождения русского языка, начиная с детских садов и школ и заканчивая гуманитарными вузами. Предлагая нашу концепцию широкой общественности, мы надеемся на поддержку всех, кому дорога русская культура, кто верит в будущее России.

Мы не знаем, какой будет языковая политика государства Российского в XXI веке. Но мы убеждены, что если дошкольные и школьные педагоги глубоко осознают свою миссию в воспитании языковой личности, то они смогут сказать свое веское слово в защиту родного языка и побудить российскую общественность к активному содействию.

Городская экспериментальная площадка “Пушкинское слово”, созданная Департаментом образования Москвы в 1999 г., начинает действовать с решения следующих задач:

– укрепить образцовые нормы современного литературного языка,

допуская включение в его ткань той лексики нового времени, которая не будет входить в конфликт с высокими идеалами золотого века русской классической литературы, своими истоками восходящего к пушкинской эпохе;

– при обучении русскому языку важно не только давать знания учащимся, но и воспитывать у них чувство языка, прививать навыки владения словом, отношение к слову как к духовно-эстетической категории;

– сформировать образ русской развитой языковой личности, способной самостоятельно осваивать духовные ценности многообразной и многонациональной культуры, развивая и совершенствуя родной язык и национальную культуру на основе глубокого осознания их исторических корней и связей;

– остановить распространение так называемого “англо-русского двуязычия” в языке рекламы и средств массовой информации: в газетах, на радио и телевидении.

– опираясь на участие и помощь Правительства Москвы, организовать регулярные образовательные теле- и радиопередачи под рубрикой “Культура речи”, в которых принимали бы участие писатели, ученые, учителя средней школы, преподаватели вузов. Важно, чтобы программа передач была многоуровневой, предназначенной для разных возрастных групп детей;

– на базе Центрального округа Москвы создать Гуманитарный центр, который объединил бы педагогов, ученых, писателей, любящих русское слово и желающих участвовать в решении поставленных перед школой XXI века задач. Центр сделать открытым для всех людей, любящих русский язык, на какой бы территории они ни проживали.

Проект Концепции подготовлен авторской группой городской сетевой экспериментальной площадки “Пушкинское слово”, в том числе заместителем директора по научной работе Прогимназии № 1842 С.Ф. Ивановой и доктором филологических наук Л.К. Граудиной.

## Новое о словах *интеллигент*, *интеллигенция*

А. В. ЗЕЛЕНИН,

кандидат филологических наук

История данных обозначений давно привлекает внимание исследователей, и нам нет нужды возвращаться к уже сказанному. Цель настоящей заметки – показать их жизнь в современном языковом пространстве, представив новые материалы, которые до сих пор или не привлекались для изучения, или считались случайными, досадными “сбоями” на лингвистическом пути этих названий, или использовались недостаточно полно. Привлечение нетрадиционных источников помогает нам увидеть жизнь слов в русском языке и общественном сознании более объективно, выпукло, объемно. Диапазон используемых материалов охватывает широкий стилевой спектр от жаргонной речи, диалектов и просторечия до философской публицистики.

В середине XIX века польский источник заимствованного слова *интеллигенция* чувствовался вполне отчетливо: “В Москве... сказывалась... духовная жизнь благодаря влиянию тогдашнего университета и той дворянской, образованной и независимой по средствам и духу среде, в которой слагалась тогда ее интеллигенция (употребляю здесь термин, тогда еще не выдуманный, или вернее, незаимствованный еще тогда русской печатью у польской)” (Б.М. Маркевич. Из прожитых дней. 3. На Юге в сороковых годах). В польском языке в XVIII веке термин *inteligencja* использовался только в психологическом контексте при обозначении свойства сознания по выработке умозаключений или вообще как способность мыслительной деятельности. Пожалуй, впервые этот термин перевёл в социологическое русло польский философ и эстетик, политик и публицист Кароль Либельт (Karol Libelt, 1807–1875 гг.) в одной из публицистических статей 1844 г. в связи с необходимостью наименования группы образованных людей (преимущественно из обедневшей шляхты и представителей других сословий), поставивших своей целью в условиях начинавшегося развития капиталистических отношений в Восточной Европе добиться общественного признания (особенно в области культуры) и отстаивавших либерально-демократические ценности. Именно эта идея и объединяла довольно разнородных по социальному происхождению индивидуумов, убежденных в своём особом общественном призвании и статусе (Encyklopedia Powszechna. T. 2. 1974. S. 291).

Несколькими годами позже в переосмысленном виде это обозначение зазвучало в статьях В.Г. Белинского. Новое для русского языка слово *интеллигенция* осознавалось как несобственно-номинативное наименование для образованных свободномыслящих людей в русском обществе.

К началу XX века в русском языке были известны однокоренные слова *интеллигент*, *интеллигенция*, *интеллигентный*, *интеллигентность* (в значении “количество, сумма знаний; образованность”); здесь мы не касаемся вопроса о времени появления каждого из этих обозначений. Соперничество двух номинативных вариантов (*образованные люди* и *интеллигенция*) завершилось победой второго: грамматически в слове *интеллигенция* на первом месте стоит идея целостной совокупности (ср. *милиция*, *полиция* – оба слова известны с XVIII века), семантически – образованность, прагматически – признак свободы, широты, независимости мышления; семантика фразы *образованные люди* была уже смысла первого слова. Синтетическая целостность грамматики (однословность, собирательность), семантики (образованность), прагматики (свободомыслие) обеспечили победу варианта *интеллигенция* в русском языке.

В первое десятилетие XX века появляются относительное прилагательное *интеллигентский* (без оценочности), существительные *интеллигентщина* (сначала терминологически нейтральное), *интеллигентик*, *интеллигентшика* (с негативной оценочностью). Все производные свидетельствуют, что и в начале нашего века продолжается мощное освоение понятий “интеллигент”, “интеллигенция” как в демократически ориентированной публицистике и литературе, так и в противостоящей ей. Это сопровождалось не только острыми спорами о месте, сущности интеллигенции в российском обществе, но и сопутствующими им языковыми процессами, протекавшими как в области собственно-лингвистической (словообразование, семантика, стилистика), так и прагматической (сопряжённой с социальной оценочностью).

В последние десятилетия возникли новые производные, показывающие, что жизнь слов в русском языке не остановилась. Интересно, что если в конце XIX – начале XX века производные группировались в разряде именных слов (прилагательных и существительных), то в настоящее время происходит расширение зоны родственных слов. Появились глаголы *интеллигентизировать* (“[Аркадий] попробовал интеллигентизировать свое поведение путем научно-нравственного обоснования” – Г. Погодин. Стоэтажное поле), *интеллигентничать* (“Появилась соседка Валя в черной юбочке, как стрекоза. Она интеллигентничала, потом разгулялась, спела рискованную частушку” – М. Горчаков. Дело в розовой папке), *обынтеллигентиться* (“[Николай:] Клавдия, если ты там в Ленинграде не совсем обынтеллигентилась, давай! Раньше-то выхаживала” – В. Розов. В день свадьбы); отглагольные существительные – *интеллигентизация* (“Интеллигентность, повторяю, не

противостоит мужской силе, а как бы вливается в неё. Происходит интеллигентизация мужской силы. Только таким образом эта сила перестаёт быть слепой” – Лит. газета. 1973. № 51), *интеллигентничание* («Немедленно прекратить всякое – даже выговорить трудно – “интеллигентничание”» – Лит. Россия. 1993. № 38); причастия – *интеллигентствующий* (таких образований в прессе 70–90-х годов достаточно много: “интеллигентствующий фашизм” – Новый мир. 1975. № 2; “интеллигентствующая администрация” – Лит. газ. 1981. № 1; “интеллигентствующие анархисты” – Правда. 1980. 17 мая; “интеллигентствующая демократия” – Сов. Россия. 1996. 1 окт.; “интеллигентствующий мещанин” – Ю. Трифонов. Выбирать, решаться, жертвовать).

Способность к образованию глагольных (и отглагольных) форм – новый фактор в развитии семантического и грамматического значений данных обозначений, свидетельствующий о большой степени отвлеченности признака, выделенного и “отработанного” общественным сознанием в именных формах *интеллигент, интеллигенция, интеллигентный*. В этих образованиях качественное значение стало намечаться и развиваться почти с момента их появления в языке. Это значение связано не просто с представлением об умственном характере труда, но именно с “достоинством” интеллигентного человека – его поведенческими, моральными, этическими качествами, отличающими от других сословий, социальных групп (крестьян, дворян, мещан, мастеровых и т.д.). Концентрация, “сгущение” данного признака привели к тому, что семантически стало возможным осмысление его не как готового свойства, результата, а приобретаемого, развивающегося во времени (т.е. процесса). Так понятие из “предметного” превратилось в предикатное (глагольно-признаковое). Эта модель (образование из субстанциональных слов предикатных) вообще характерна для XX века при обозначении политических взглядов, течений, направлений: *фашист, фашизм, фашистский* > *фашиствовать, фашизация, фашиствующий; либерал, либеральный* > *либеральничать, либеральничание, либеральничаящий* и т.д.

Отметим также неологизмы-существительные последних лет: *интеллигентесса* (“Хакамада – интеллигентесса. Хоть дурында Барбра Стрейзанд, // Но она – блендамед прогресса!” (А. Вознесенский. Кара Карфагена), образованное суффиксальным способом со значением “лицо женского пола” (ср. *стюардесса, поэтесса*) и *интеллигентофобия* (“В мелкобуржуазной интеллигентофобии, в том, что спустя много лет в России получило название махаевщины, и Маркс, и Энгельс, и Ленин с полным основанием видели страшную опасность для судеб пролетарского движения и социализма” (А. Румянцев. Проблемы современной науки об обществе); «Шовинизм, ксенофобия, интеллигентофобия для душевного равновесия обязательно нуждается в похвалах “простому крестьянину”» (Знание – сила. 1989. № 3). Последнее обо-

значение требует комментария. За формальной общностью слова *интеллигентфобия* в приведенных цитатах скрывается интересный семантический парадокс. В первом случае семантическое значение не выводится непосредственно из смысла составляющих частей, а отсылает к более далекому понятию – махаевщине (= махизму = эмпириокритицизму), содержание которого: “отрицание логических, философских (resp. умственных, рассудочных. – А.З.) категорий как способа познания мира”. Во втором случае *интеллигентфобия* – “боязнь интеллигенции, недоверие к ней”. Первое образование с синхронной точки зрения кажется если не ошибочным, то неловким, индивидуально-авторским, однако в защиту (хотя и не в оправдание) можно было привести случай с Третьяковским, который еще в XVIII веке латинское *intelligentia* (через польское влияние) переводил как *разумность* (“Действует наш ум поминая вещи Просто... Разумностью (*intelligentia*), или разумом (*purus intellectus*)...” – Сочинения и переводы как стихами так и прозою Василья Третьяковского. Т. 1. СПб., 1752. С. 433). Очевидно, как для Третьяковского, так и для современного автора внутренняя форма слова оказывается доминирующей.

Именными образованиями являются также сложные прилагательные *интеллигентско-рабочий* (“интеллигентско-рабочим выглядит и электорат Владимира Жириновского” – Сов. Россия. 1998. 26 марта), *интеллигентски-либеральный* («[Чубайс] возглавил и объединил “интеллигентски-либеральную команду” (дочь Ельцина, Игорь Малашенко, Березовский, Сатаров, Шахновский, Шахрай и др.)» – Огонек. 1996. № 30), *интеллигентски-журналистский* (“интеллигентски-журналистский обиход” – Лит. Россия. 1995. № 47), *интеллигентно-деликатный* (“– Люда, насколько я знаю, по характеру вы человек мягкий, интеллигентно-деликатный. Не помешают ли эти качества вам как депутату?” – Собеседник. 1989. № 14). Данные образования интересны прежде всего актуализацией тех сем в структуре значения, которые делают возможным смысловое соединение понятий в современном употреблении.

Прилагательные *интеллигентный*, *интеллигентский* уже в начале XX века испытывали необходимость семантически размежеваться: *интеллигентский* чаще соотносилось с *интеллигенция*, *интеллигентны* (то есть для выражения грамматической относительности), *интеллигентный* мотивировалось семантическим комплексом, развиваемым в понятии “интеллигент” демократической публицистикой; этот достаточно аморфный семантический комплекс содержал следующие элементы: “умственный” (как основа всего комплекса) > “образованный” > “культурный” > “обходительный, деликатный, вежливый”. Такова была последовательность семантических шагов в развитии смысловой структуры данного обозначения в русском языке. Впрочем, эта тенденция видна нам только сейчас, однако 100 лет назад в языке такой отчет-

ливой картины не было, и в прилагательном *интеллигентный* качественность выступала все-таки как побочный, дополнительный семантический признак, ведущим в слове было выражение относительности – об этом говорит хотя бы такой факт: возникшее в середине XIX века отвлеченное существительное *интеллигентность* обозначало отнюдь не “свойства, качества, присущие интеллигентному человеку, интеллигенции” – до этого значения было еще далеко – а имело смысл “мыслительная сила, степень мыслительной силы”, т.е. еще не оторвавшийся от своего этимологического (употреблявшегося в психологии) значения (см.: “Необходимое дополнительное приложение к Настольному словарю Ф. Толля, под его же редакцию составленное”. СПб., 1866). Поэтому даже такой чуткий к слову писатель, как А.П. Чехов, в конце XIX века использует данное наименование исключительно для обозначения количества, суммы знаний: “Вы знаете, до какой степени масса, особенно ее средний слой, верит в интеллигентность” (Дуэль).

В 20–30 годы XX века компонент “умственный” в слове *интеллигентный* отходит на второй план, уступая место семантически вторичным семам “образованный, грамотный”, “культурный”: “Мы стремимся сделать население всей страны интеллигентным. Это – наш идеал” (Красное знамя. 1939. 14 апр.). В данном случае перед нами весьма выразительная картина социально-обусловленной мотивированности слова: культурная революция, провозглашенная большевиками, в числе прочих задач поставила целью ликвидацию неграмотности, а также “перевоспитание буржуазной и формирование социалистической интеллигенции” (Советский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 678). Так в слове произошла инициированная социальными мотивами переориентация семантики и прагматики – в сравнении с дореволюционным узусом и традициями: вместо “умственный; интеллектуальный” > “грамотный”, вместо “культурный” (до революции часто сопрягаемый с понятием “прогрессивно-демократический”) > “социалистически настроенный, разделяющий идеологию большевиков”. Такое сужение объема понятий было вызвано перераспределением и актуализацией содержательных признаков в самом понятии “культура” – в послереволюционное время она рассматривалась под знаком партийности: конкретное преломление этого в литературе – метод социалистического реализма, в лингвистике – требование марксистского подхода к явлениям языка, в философии это обнажено наиболее ярко – классовый критерий.

В современном языке прилагательное *интеллигентский* обнаруживает тенденцию к сочетанию с другими, чем прежде, словами и образованию сложных терминов, чего раньше также не было. Данный факт интересен тем, что “чистая” относительность как грамматический фактор на протяжении всего лишь 100 лет – ничтожный отрезок времени

для языка – затмилась, оказалась в тени оценочно-прагматического фактора, выраженного прилагательным с качественным значением *интеллигентный*. Может показаться, что прилагательному *интеллигентский* уготована роль постепенного угасания в языке, однако необходимость речевого выражения грамматической относительности толкает к образованию производных от данного прилагательного. Очевидно, его еще рано списывать в пассивный фонд русской лексики.

Прилагательное *интеллигентный* в современном языке специализируется на выражении качественных признаков и употребляется как в свободном (автономном) виде, так и в составе сложных слов. Качественность семантики видна, в частности, в возможности приобретения степени сравнения: в разговорной речи нередко можно слышать форму “интеллигентнее” (примечательно, что она помещена даже в “Орфоэпический словарь русского языка”, хотя в толковые нормативные словари она не попадает, считаясь нелитературной); ср. также форму превосходной степени: «Я... не знаю, имеется ли на русском языке перевод хоть одной из важнейших книг редактора интеллигентнейшего и распространеннейшего французского еженедельника “*Mercure de France*” – Реми де-Гурмона» (Луначарский. Критические этюды). Прилагательное *интеллигентский* не обнаруживает больших словообразовательных потенций, за исключением уже перечисленных случаев; в публицистике встречается также наречие *интеллигентски* (кстати, не зафиксированное ни одним словарем): “Герой повести А. Кабакова “Невозвращенец” оказывается в будущем из интеллигентского неумения отказывать. А потом так же интеллигентски ужасается, осознав себя агентом” (Собеседник. 1989. № 47).

Исследователи уже отмечали сочетаемостные характеристики слов *интеллигент*, *интеллигенция*, в которых отчетливо видна эпоха и идеология: в XIX веке определениями служили лексемы *разночинный*, *народный*, *служилый*, *буржуазный*, *русский*, *французский*, *польский*, *дворянский*, *сельский*, *провинциальный*, *столичный*, *честный*, *нечестный* и т.п.; в 30-е годы XX века *советский*, *трудовой*, *народный*, *социалистический*: “...советские интеллигенты – пламенные патриоты социалистической Родины” (Кр. Звезда. 1948. 30 дек.); “Наш молодой советский интеллигент – это новый человек” (Горький. Ярославцам); “Растет не только пролетарский интеллигент из рабочих,... но становится культурной, интеллигентной в лучшем смысле этого слова широкая масса рабочих” (Ленингр. правда. 1934. 2 авг.).

Если на первых порах (при появлении понятия “интеллигенция”) эпитеты помогали “шлифовать” семантические, содержательные признаки в обозначении нового для России явления, то в советское время их роль изменилась: они стали подчеркивать политическую и идеологическую сущность этой группы людей. Поэтому в послереволюционные годы употребление слов *интеллигент*, *интеллигенция* в свобод-

ном виде (без определителей) практически всегда показывало, что речь идет о дореволюционной интеллигенции, в идеологических оценках той эпохи – как правило, аполитичной, сентиментальной, ограниченной своим мирком, узкими групповыми или личными (“не-народными”) интересами: “При диктатуре пролетариата придется перевоспитывать... буржуазных интеллигентов, подчинить их пролетарскому государству и пролетарскому руководству, побеждать в них буржуазные привычки и традиции” (Ленин); “Был я безликий интеллигент, / Молча гордящийся мелочью звания...” (Н. Асеев. Десятый Октябрь); “Интеллигент не любит риска / И красен в меру, как редиска” (Маяковский. Советская азбука); “Чибис усмехнулся и сказал лениво...: – Интеллигентны – всегда ослы в партии: они постоянно чувствуют себя пришибленными и виноватыми” (Гладков. Цемент). Эпитеты и определения “безликий интеллигент”, “мелочь звания”, “буржуазный интеллигент”, “не любит риска” весьма красноречивы в послереволюционное время.

Эту особенность революционного языка хорошо чувствовали внимательно следившие за языковыми изменениями лингвисты. Эмигрировавший из советской России С.И. Карцевский назвал такой процесс обязательного снабжения существительного идеологически окрашенным прилагательным “партикуляризацией”, иначе – дроблением на мелкие составляющие (Карцевский С.И. Язык, война и революция. Берлин, 1923. С. 32).

Дальнейшие годы советской власти породили новые сочетаемостные позиции: “интеллигенты советской формации” (Диковский. Периферия); “опальные интеллигенты, по старой терминологии – разночинцы: писатели, актеры, студенты, сельские учителя, чиновники невысоких рангов...” (Ф. Кедров. Повесть о Френкеле); “Анри Лежан был потомственным интеллигентом; к коммунизму он пришел путем долгих размышлений...” (Эренбург. Буря). Новообразованием советского времени является устойчивое сочетание “интеллигент в первом поколении” (реже – “интеллигент во втором (третьем) поколении”): “Интеллигент в первом поколении, сын бедняка-крестьянина, Сажин сам пробил свою дорогу в жизни” (А. Каплер. Возвращение броненосца); “...биография [Севастьянова] сходна с биографией сотен тысяч тех “интеллигентов в первом поколении”, чьи родители окончили всего 3–4 класса, а то и просто ликбез” (Известия. 1970. 3 июня).

На стыке лексики и синтаксиса находится такое языковое явление, как приложения; они показывают характеристику предмета через параллельное наименование, то есть выступают качественными (с лексико-семантической точки зрения) определителями существительного. Использование приложений со словами *интеллигент*, *интеллигенция* наметилось уже в начале XX века у большевистских авторов: “интеллигенты-революционеры” (Ленин. Что делать?); “Вне союза с пролетариатом.., интеллигент-художник может пойти только бунтарскими пу-

тями” (Луначарский. Критические этюды); “Успенский приветствовал Пушкинскую речь Достоевского, увидев в ней наконец-то произнесенное слово оправдания страданий русского интеллигента-страдальца” (Луначарский. Там же); “Наш интеллигент-босяк... человек с большим сердцем” (Луначарский. Там же); “Фрэнсис Бэкон был настоящий интеллигент-буржуа, хотя и сделался лордом” (Луначарский. История западноевропейской литературы. 5 лекция).

Современная речь в сочетаемости слова *интеллигент* с приложениями акценты расставляет в следующих случаях: *и.-народник, и.-специалист, идеалист-и., и.-француз, интеллигенты-беженцы, интеллигенты-отступники, и.-белоручка, и.-истерик, и.-горожанин, и.-подвижник, и.-правдоискатель, и.-заключенный* (в рассказах В. Шаламова), литературный *герой-и., земледельцы-интеллигенты, люмпен-интеллигенты, депутаты-интеллигенты, наш брат-и., автор-и.* и др. (примеры взяты из современной публицистики). Как видно из приведенного списка, приложения с семантической точки зрения представляют довольно разнородную категорию: они описывают интеллектуальные свойства человека, область профессиональных занятий, его моральные, нравственные и психологические качества, критерии. Таким образом, приложения помогают вычленять в понятиях “интеллигент, интеллигенция” те компоненты, которые существуют в семантике данных слов в современном языковом сознании. Изменение статуса некоторых словосочетаний со словами *интеллигент, интеллигенция* в русском языке в последние годы (типа *гнилая интеллигенция*), уход их в лексический пассив, связанный с трансформацией прагматических установок, отражают как новейший словарь актуального словоупотребления (Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения. СПб., 1998. С. 271–272), так и словарь, ориентированный на описание советизмов (Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь языка Совдепии. СПб., 1998. 230–231).

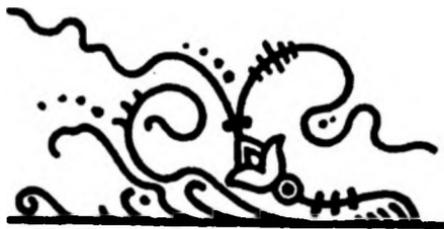
Слова *интеллигент, интеллигенция* после появления в русском языке довольно долго оставались фактом публицистики или речи образованных городских жителей. Однако в диалектном языке и просторечии шел процесс освоения данных обозначений иначе, чем в нормированном, литературном языке. Видимо, первые записи функционирования понятий в диалектах относятся к 20-м годам нашего века. Неясность внутренней формы слова, устный характер проникновения в говоры приводили к искажениям фонетической формы слова и попыткам видеть уже знакомые элементы. Например, в этих словах выделяли часть, созвучную префиксу *анти-*: *антилеген* (пермск. – Картоотека Словаря русских народных говоров (СРНГ); хранится в Институте лингвистических исследований РАН в СПб), *антилегентный* (Касим., 1927 г. – Труды Комиссии по диалектологии русского языка. Вып. 12. Л., 1931. С. 139); отмечена также усеченная форма *телегет* (Там же.

Вып. 12. С. 166), *тилигент* (“– Когда я был тилигентом, я тоже хорошо обедал. – Когда же ты был тилигентом? – В молодости, когда хорошо зарабатывал”, – Записано от рабочего-строителя в Москве; хранится в Большой картотеке Словарного отдела Института лингвистических исследований РАН). Интересно, что собирательное значение слова *интеллигенция* в народном языке реализовалось суффиксом *-ия*: *интельгенция*, *антилегенция*, *интелегузия* (Миртов А.В. Донской словарь. Ростов-на-Дону, 1929. С. 119). Неодобрительное отношение к понятиям “интеллигент, интеллигенция” формально выражалось при помощи изменения финальной части слов: *интелюля*, *интилиля* (Картотека СРНГ), *интелеле* “о человеке, занимающемся легким трудом” (Словарь русских народных говоров. Вып. 12. Л., 1977. С. 206). В литературе и речевом обиходе встречаются также другие шуточные обозначения интеллигенции и интеллигентов: *интеллягушка* (преимущественно о женщине-интеллигенте, эта шуточная форма возникла вследствие стилистической шероховатости при номинации лица женского пола от существительного *интеллигент*), *интеллепунция* (А. Флегон. За пределами русских словарей. London, 1973. С. 289) – семантическая и словообразовательная контаминация с оборотом “пуп земли”.

Эти диалектные формы изредка используют писатели для передачи речевой характеристики персонажей: “Все молчали... только улыбающийся человек сказал кому-то.: – Даже барин пришел... антилегенд” (Горький. Жизнь Клима Самгина); “[Ипат:] Чем ты лучше меня? В кресло уселся и уже думает – антиллигент” (Сторожева. Тихий омут).

Таким образом, приведенный материал изначально психологических и затем социологических терминов *интеллигент*, *интеллигенция*, постепенно через литературу вошедших в русский речевой обиход, показывает как попытки идеологического манипулирования данными обозначениями (в официальной публицистике), так и живое языковое творчество народа в освоении этих понятий. В этом процессе оказываются задействованными различные языковые факторы: словообразование, семантика, грамматика, прагматика. Их соотношение (в разных пропорциях) и определяет ту неповторимую игру смыслов и оттенков, приведшую к тому, что иностранное обозначение на протяжении своей недолгой истории пронизало, прошло нашу “русско-советскую” действительность прочными языковыми нитями.

Санкт-Петербург



## *Что мы говорим, когда говорим “ничего...”*

А.Г. БАЛАКАЙ,

кандидат филологических наук

В русском языке существуют две омонимичные словоформы (омоформы): 1) *ничего* – род.п. отрицательного местоимения *ничто* (В доме не осталось ничего. “Что нужно делать?” – “Ничего”. “Что ты сегодня ел?” – “Ничего”) и 2) *ничего* (*ничё, ничто, ништо* – прост. и обл.) – местоименное наречие, употребляемое чаще в качестве безличного сказуемого (слова категории состояния).

В статье речь пойдёт, главным образом, о предикативном наречии *ничего*, которое давно привлекает к себе внимание как самих русских, так и иностранцев (См., например: М.П. Алексеев. Русское слово *ничего* и его зарубежные интерпретации // Словари и лингвострановедение. М., 1982). Многозначность и идиоматичность этого слова, разнообразие его смысловых оттенков делают его одним из символов загадочной русской души. «Есть на языке нашем оборот речи, – писал П.А. Вяземский, – совершенно нигилистический, хотя находившийся до изобретения нигилизма и употребляемый донныне вовсе не нигилистами. “Какова погода сегодня?” – “Ничего”, – “Как нравится вам эта книга?” – “Ничего”. – “Красива ли женщина, о которой вы говорите?” – “Ничего”, – “Довольны ли вы своим губернатором?” – “Ничего”. И так далее. В этом обороте есть какая-то русская лукавая сдержанность, боязнь проговориться, какое-то совершенно русское себе на уме» (Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. VIII. С. 429).

Наречие это зафиксировано уже в Словаре русского языка XI–XVII вв.: *ничего* (*ничево*), в сост. сказ. *Ничего, переносимо, можно терпеть*. “И то б еще ничево, а то такие великие убытки... от того учинилися, и то добре досадно” (Куранты, 1645 г.). На частотность употребления русскими этого наречия обращали внимание В.И. Даль, М.И. Михельсон и другие лексикографы XIX в.

Французский писатель А. Сильвестр (1838–1901), посвятивший слову *ничего* несколько страниц своей книги, называет его “страдательно-терпеливым девизом русского народа”. Пытаясь найти ему лексическое соответствие во французском языке, он утверждает, что этот девиз кажется ему специально созданным для русского крестьянина, этого “величайшего философа” из всех, каких только “можно себе представить, так как его не трогает ничего из мелочей жизни” (Silvestre A. La Russie. Impressions – Portraits – Paysages. Paris, 1892. Цит. по указ. раб. М.П. Алексеева). Рассказывают, что Бисмарк, хорошо знавший русский язык, которому он выучился, будучи послом Прусского королевства при Петербургском дворе между 1859–1863 гг., носил приобретенное в России кольцо, на котором было вырезано *pitchewo*, и что у Бисмарка внимание к этому слову имело обличительно-ироническое отношение, как к русскому *авось да небось да как-нибудь*.

Сфера бытования слова *ничего* в русской речи чрезвычайно широка. Мы хотели бы сосредоточить внимание на употреблении *ничего* в качестве знака русского речевого этикета. Регулярное использование знака в стереотипных речевых ситуациях приводит к идиоматизации его значения. Под идиоматичностью значения в данном случае понимается наличие семантического признака, не выраженного словообразовательными средствами или фразообразовательными компонентами (В.П. Жуков). Идиоматичность иногда называют “приращением смысла” (В.Л. Архангельский), “непрозрачностью” значения знака *N*, требующего “переинтерпретации” (А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский) по формуле: *Что мы говорим, когда говорим N*. На идиоматичность русских этикетных выражений едва ли не первым обратил внимание А.С. Пушкин: “Мы всякий день подписываемся *покорнейшими слугами*, и, кажется, никто из этого не заключал, чтобы мы просились в камердинеры” (Собр. соч. в 10 т. Т. 6. С. 404).

В качестве этикетного знака *ничего* регулярно употребляется в следующих ситуациях:

1. Как обиходный ответ на этикетные вопросительные обращения при встрече: *Как живете? Как поживаете? Как здоровье? Как дела?* и т.п. В данной ситуации ответ *Ничего* при соответствующей интонации может означать: “хорошо”, “благополучно”, “неплохо”, “сносно”, “так себе”.

Известно, что в традициях русского общения в ответ на подобные этикетные вопросы не принято самодовольно распространяться о своих успехах и удачах. Не принято и слишком жаловаться на свою жизнь. Поэтому обычно отвечают: *Ничего*. Если по условиям общения однословный ответ оказывается недостаточно приветливым, он может быть уточнен, распространен рядом синонимичных знаков: *Так себе. Помаленьку. Нормально. По-всякому. Слава богу* и т.п., в том числе, если позволяет речевая ситуация, – стереотипной шуткой типа *Живем,*

*хлеб жуем. Дела идут, контора пишет. Лучшие всех, да никто не завидует и т.п.*

Однако в любом случае этикет предписывает говорящему не задерживать внимания на себе, а переводить его на собеседника. Например: “[Балагалаев:] Ну, как ты? (Садится.) [Мирволин:] Слава Богу-с, Николай Иванович, слава Богу-с. Как вы в своем здоровье? [Балагалаев:] Я ничего. В городе был?” (И. Тургенев. Завтрак у предводителя); «Он [князь], бывало, если проиграется где-нибудь ночью, сейчас утром, как встанет, идет в архалучке ко мне в конюшню и говорит: “Ну, что, почти-полупочтеннейший мой Иван Северьяныч! Каковы ваши дела?” – он всё этак шутил, звал меня почти-полупочтенный, но почитал, как увидите, вполне. А я знал, что это обозначает, если он с такой шуткой идет, и ответу, бывало: “Ничего, мол: мои дела, слава Богу, хороши, а не знаю, как ваше сиятельство, каковы ваши обстоятельства?”» (Н. Лесков. Очарованный странник); «Звонко, радостно целуя Потапа Максимыча, кричал он [Кольшшин] на весь дом: “Крёстный!.. Ты ль, родной?.. Здорово!.. Здорово!.. Что запропал?.. Видом не видать, слыхом не слышать!.. Все ли в добром здоровье?”. – “Ничего – живем да хлеб жуем, – отвечал, улыбаясь, Чапурин. – Тебя как Господь милует?.. Хозяюшка здорова ль?.. Деточки?”» (П. Мельников (Печерский). В лесах); «“Ну, как дела? – спросил Колька Бирюков (...) – Как жизнь?” – “Ничего, – ответил я. – Нормально”» (А. Рекемчук. Мальчики); «Игорь смял в руках кепчонку, русые, давно не стриженные, не мытые волосы торчали во все стороны. “Как дела?” – спросил Борис. “Ничего, хорошо”, – Игорь обнажил в улыбке редкие зубы. “Хорошо – это хорошо. А ничего – это ничего. Опять проспали?” – “Нет, почему же? Не пускают в экспедицию”» (А. Рыбаков. Дети Арбата); «[Телеведущий:] Вопрос, так сказать, человеческий: как здоровье? [Ю. Никулин:] Ничего. Как у нас в цирке говорят: “Как здоровье?” “Наливай!” Это значит: ничего еще» (Из телеочерка “Все любят цирк”, 1991).

2. Как форма сдержанной похвалы, одобрения, комплимента. В устной речи степень одобрения выражается с помощью интонации и невербальных (мимических и кинетических) средств: “[Режиссер:] (...) Вы смотрели первый и второй акт? Ну как, как? Нас всех, конечно, интересует впечатление и вообще взгляд... [Победоносиков:] Ничего, ничего! Мы вот говорим с Иваном Ивановичем. Остро схвачено. Подлинно. Но все-таки это как-то не то...” (В. Маяковский. Баня); «Хвалил [А.А. Реформатский] сдержанно: “Ничего. Получилось. Бойкое перо, бойкое!”» (Н. Ильина. Дороги и судьбы); «Засмеялись. И профессор тоже невольно засмеялся. И покачал головой. Нюра наклонилась к нему, спросила: “Ну, как – ничего?” – “Ничего, – сказал профессор. – Хитер мужик твой Иван. Хорошо выступает”. Нюра была польщена. “Он умеет, когда надо...”» (В. Шукшин. Печки-лавочки).

Для усиления экспрессии употребляется выражение *очень даже ни-*

чего: «Она заплакала и сказала маме: “Мама, я такая некрасивая!” – “Ну кто это тебе сказал, дочка! Ты очень даже ничего”» (В. Крупин. Песок в корабельных часах). Ср. употребление диалектного *ништо* (нешто) в ситуации похвалы, одобрения: «Праздний народ расступается чинно... Пот отирает купчина с лица И говорит, подбоченясь картинно: “Ладно... нешто... молодца!.. молодца!..”» (Н. Некрасов. Железная дорога).

3. Как ответ на словесный знак внимания, предложение, приглашение. В подобных ситуациях *ничего* может означать: “не беспокойтесь, не утруждайте себя из-за меня, я не стою, или это не стоит такого внимания”: «“Максим Максимыч, не хотите ли чаю?” – закричал я ему в окно. “Благодарствуйте, что-то не хочется”. – “Эй, выпейте! Смотрите, ведь уж поздно, холодно”. – “Ничего, благодарствуйте...”» (М. Лермонтов. Герой нашего времени); “[Хлестаков:] Что? не ушиблись ли вы где-нибудь? [Бобчинский:] Ничего, ничего-с, без всякого-с помешательства, только сверх носа небольшая нашлапка” (Н. Гоголь. Ревизор); “[Крутицкий (оглядывается):] Что это они другого стула не ставят? [Глумов:] Ничего-с, я и постою, ваше превосходительство” (А. Островский. На всякого мудреца довольно простоты); «”Как живешь-можешь?” – спросил он супругу. “Ничего, – отвечала Катерина Львовна и, привставая, начала надевать распашную ситцевую блузу. – Самовар, небось, поставить?” – спросила она. “Ничего, вскричите Аксинью, пусть поставит”» (Н. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда); «”Проходите, сваточек, проходите!” – упрасивала Ильинична. – “Ничего, благодарствуем... пройдем”» (М. Шолохов. Тихий Дон).

4. Как скромный ответ на благодарность в значении: “не стоит благодарности”: «“Гениальная мысль! – восторженно перебил Митя, – как благодарить мне вас, Кузьма Кузьмич?” – “Ничего-с”, – склонил голову Самсонов. – “Но вы не знаете, вы спасли меня...” – “Не стоит благодарности-с”» (Ф. Достоевский. Братья Карамазовы).

5. Как вежливый ответ на прямое или косвенное извинение в значении: “не беспокойтесь, ничего страшного не произошло, я не в претензии”: “Чичиков извинился, что побеспокоил неожиданным приездом. – Ничего, ничего, – сказала хозяйка. – В какое это время вас Бог принес! Сумятица и вьюга такая...” (Н. Гоголь. Мертвые души); «Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо: “Извините, ваше-ство, я вас обрызгал... я нечаянно...” – “Ничего, ничего...”» (А. Чехов. Смерть чиновника); “[Ивчиков:] ...А где ваша жена? [Колобашкин:] У меня нет жены. Она от меня ушла. [Ивчиков:] Простите, ради Бога. [Колобашкин:] Ничего, ничего. Это не всегда печально” (Э. Радзинский. Обольститель Колобашкин); «“Простите, простите”, – сказал он смущенно, справившись, наконец, со смехом. “Да ничего”, – улыбаясь, Никита достал сигары и зажигалку, положил перед собою на столик. “Я не хотел вас обидеть”, – сказав так, вдруг начал крас-

неть. “Ничего-ничего, вы меня совсем не обидели, – Никита махнул рукой. – Это вы меня простите...”» (А. Скоробогатов. Аудиенция у князя).

6. Как форма утешения, одобрения собеседника. Употребляется часто в ряду с другими формами утешения: *не горюйте, не переживайте, все образуется, все пройдет, будет и на нашей улице праздник* и т.п.: “Вот именно такое доверие все семейство Александры Андреевны ко мне возымело: и думать позабыли, что у них дочь в опасности. Я их тоже, с своей стороны уверяю, что ничего, дескать, а у самого душа в пятки уходит” (И. Тургенев. Уездный лекарь); “[Соня (прижимаясь к няне):] Нянечка! Нянечка! [Марина:] Ничего, деточка. Погочут гусаки – и перестанут... Погочут – и перестанут...” (А. Чехов. Дядя Ваня); “– Ничего, Михайло Потапыч, не сумлевайся очень-то: Бог не без милостей, казак не без счастья. Пронесет и нашу тучу мороком” (И. Мамин-Сибиряк. Верный раб); “На добрых глазах Лоры выступили слезы, верхняя губа ее задрожала, и она, всхлипнув, припала к плечу Анжелики. А Анжелика гладила ее по спине и говорила: – Ничего, девочка, все бывает. Сейчас война, и много нервных” (Ю. Герман. Подполковник медицинской службы).

*Ничего* или *Это ничего* употребляется в ситуациях, когда говорящий оказывается в неловком, затруднительном положении, вызывает сочувствие окружающих и от этого чувствует себя смущенным. В этом случае *ничего* означает: “что поделаешь, так уж получилось, не принимайте случившееся или сказанное мною близко к сердцу”, то есть является разновидностью формы утешения, ободрения себя и собеседника (или собеседников): «Катушин сидел теперь к нему спиной, и за линиям ситцем его рубахи странно суетились стариковские лопатки. “Да о чем ты, Степан Леонтьич, старичок милый!” – кинулся к нему Сеня. “Ничего... ничего, дружок. Спасибо тебе за ласку твою...”» (Л. Леонов. Барсуки); «Худощавый и низкорослый, Средь мальчишек всегда герой, Часто, часто с разбитым носом Приходил я к себе домой. И навстречу испуганной маме Я цедил сквозь кровавый рот: “Ничего! Я споткнулся о камень, Это к завтраму всё заживет”» (С. Есенин. Всё живое особой метой...); «“Ничего, это ничего, – всхлипывала Варя, утирая платочком слезы. – Это пройдет. Я, должно быть, утомилась... Мало спала...” – “Нет, нет! Это оттого, что мало выпила, – крикнул Герасимов. – Мы сейчас, пожалуй, повторим по полной, по полной...” – “Выше голову, Варя!”» (Б. Можаяев. Мужики и бабы).

7. С вопросительной интонацией *ничего?* употребляется при выражении просьбы, намерения с целью получить согласие или одобрение собеседника в значении: “можно? разрешите? не возражаете?»: “Пехотный солдат подошел к костру, присел на корточки, всунув руки в огонь и отвернул лицо. – Ничего, ваше благородие? – сказал он, вопросительно обращаясь к Тушину. – Вот отбилась от роты, ваше благо-

дие; сам не знаю где. Беда!» (Л. Толстой. Война и мир); «“А вот этот чемодан в углу, я выброшу его, ничего?” – спросил я у Кати в первый же день. “Без проблем”, – ответила она» (М. Угаров. Разбор вещей).

8. *Ничего* употребляется как форма выражения согласия в ответ на просьбу “да, пожалуйста”: “[Мурзавецкая:] Вот и сослужи своей благодетельнице службу великую, избавь ее от заботы! Ведь иссушил меня племянничек-то. [Чугунов:] Ничего-с, можно-с, не извольте беспокоиться” (А. Островский. Волки и овцы); “[Женщина в электричке – мужчине в ватнике:] Дядечка, ничего, я тут сумку поставлю? – Ставь, ставь, ничё” (1992).

9. *Ничего* употребляется как форма возражения, выражения несогласия со словами, действиями или намерениями собеседника: «А она смотрит на нас да усмехается по-своему, нехорошо. “Не понимаю я, говорит, зачем ему заходить? И для чего зовете?” А он ей: “Ничего, ничего! Пусть зайдет, если сам опять захочет... Заходите, заходите, ничего!”» (В. Короленко. Чудная); “[Тятин:] Любезный братец... [Звонцов:] Некогда мне! [Тятин:] Ничего, успеешь совершить подвиги ума и чести. [Звонцов:] Это что за тон?” (М. Горький. Достигаев и другие).

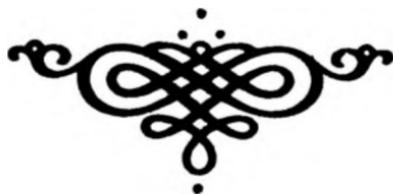
Регулярность и предсказуемость употребления слова *ничего* в перечисленных речевых ситуациях поддерживается целым рядом производных фразеологических единиц с более или менее высокой степенью идиоматичности. Например: «“Как поживаете?” – “Ничего себе. Вы как?” – “Спасибо. До свидания. Заходите”, – “Зайду. До свидания. Спасибо”» (А. Аверченко. День человеческий); «Затем он [Маяковский] спросил традиционное: “Как живете, караси?” – “Ничего себе, мерси”, – отвечал я столь же традиционно. Это было двестише из моей уже давно изданной детской книжечки под названием “Радиожираф”, которое понравилось Маяковскому, и он пустил его в ход, так что в нашей компании, а потом по всей Москве оно сделалось как бы шуточным военным паролем» (В. Катаев. Трава забвенья); “Ничего идут дела, голова еще (пока) цела” (Из стихотворения С.Я. Маршака “Волк и лиса”). «Обращаясь к попутчикам, новый пассажир говорил с развязной фамильярностью, будто век знал их. Слова сыпал часто, с присвистом: – Приветик, хлопцы! Ну, как оно “ничего”? Едем, выходит? Красота!» (И. Акулов. В вечном долгу).

О широкой употребительности слова *ничего* в русском языке свидетельствуют и многочисленные, особенно в говорах и просторечии, производные лексико-грамматические единицы. Так, в словаре В.И. Даля и в словаре русских народных говоров (СРНГ) отмечены существительные *ничеговоиник* в значении “кому все нипочем, кто ко всему приговаривает *ничего*”; *ничегокалка* – “о том, кто повторяет *ничего* для собственного успокоения”, прилагательное *ничёвый* в значении “хороший, бравый” (Ничёвый малец. Ничёвая девка. Хозяин ничёвый, и она ничёвая и разговорчивая); глагол *ничегокать* “часто повторять *ничего* для собственного успокоения”. В современном молодежном жаргоне,

преимущественно в мужской речи, употребляется производное слово *ничтяк* (*ништяк*, *нищак*): “Как жизнь?” – “Ничтяк”. “Как я постриглась?” – “Ничтяк”. Употребляясь в предикативной функции, *ничтяк* может быть синонимично прилагательным *красивый*, *хороший*: “Ничтяк девочка”, “Сапожки ничтяк”.

В заключение еще раз отметим, что сфера употребления слова *ничего* (*ничё*) не ограничивается этикетными ситуациями, его семантическая структура шире представленной в статье. Слово это может употребляться в значении частицы *вовсе*, усиливающей отрицание, возражение: “Наташа отошла подальше, чтобы осмотреться в трюме. Платье было длинно. – Ей-богу, сударыня, ничего не длинно, – сказала Мавруша, ползая на полу за барышней” (Л. Толстой. Война и мир). Может употребляться в роли модальной частицы, служащей для заполнения пауз, помогающей устранить возможное чувство неловкости, растерянности: “[Мирон (кланяясь):] Марфе Севостьяновне! [Марфа:] Мирон Липатыч! Да взойдите, ничего... (Мирон входит.) Какими судьбами? “(А. Островский. Невольницы). Наконец, *ничего* (*ничё*, *ништо*) может произноситься с интонацией угрозы (Ничего, встретимся еще...) или злорадства (Ничего, перебьетесь, не дворяне...). Характерное примечание, отражающее нравственно-языковое сознание комментатора, приводится в СРНГ: “Слово *ничто* (в просторечии более слышанное *ништо*) есть почти необъяснимое. Оно всюду и всеми употребляется. Это, так сказать, слово греховное, изъясляющее равнодушие, или утверждение, или даже удовольствие, если не радость, о случившейся беде или зле человеку, которого не любят или которому не сочувствуют. *Ничто* ему или ей – просто, или с прибавлением *так и надо*”. 1854. (Вып. 21. С. 248).

Новокузнецк





## РЕШИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ РЕШАЮЩИЙ?

В.И. КРАСНЫХ,  
кандидат филологических наук

В предлагаемой заметке рассмотрим непростые отношения, сложившиеся между двумя “родственниками” – паронимами *решительный* и *решающий*. При этом нужно обратить внимание на “возраст” указанных “родственников”: так, если прилагательное *решительный* насчитывает более 200 лет (впервые зарегистрировано в Российском Целлариусе в 1771 г.) и вследствие этого может рассматриваться в качестве далекого “прадедушки”, то адъективированное причастие *решающий* обрело свой официальный статус лишь в 1939 г. в толковом словаре под редакцией Д.Н. Ушакова и выступает как “правнучек” первого.

Вполне естественно, что за два с лишним столетия слово *решительный* приобрело несколько значений, которые с течением времени частично изменились, что обусловило определенные расхождения в их формулировке современными толковыми словарями.

В Словаре Ушакова, БАС и МАС с некоторыми вариациями выделяются пять основных значений (с оттенками) этого слова. Возьмем в качестве примера толкование, содержащееся в МАС (после двух параллельных черточек в МАС даются оттенки значения; в скобках же мы указываем существительные, с которыми слово *решительный* употребляется в этом словаре в иллюстративных примерах):

1. Смелый в принятии решений, быстро принимающий решения и не колеблющийся в их исполнении. (Р. человек).

|| Свойственный такому человеку, выражающий смелость, решительность, непреклонность. (Р. глаза, тон, характер).

2. Крайний, наиболее сильный или резкий, энергичный. (*Р. меры, действия*).

3. Окончательный, определенный, представляющий собой решение. (*Р. объявление, намерение*).

|| Категорический, безусловный, не допускающий возражений. (*Р. за- рок, письмо*).

4. Наиболее важный, определяющий дальнейший ход, развитие че- го-л.; решающий. (*Р. события, шаг*).

5. Разг. Несомненный, явный. (*Р. талант*).

Прежде всего бросается в глаза, что пятое значение носит явно у- старелый характер (БАС, между прочим, в отличие от МАС также при- знает, что это значение является устарелым). Вряд ли кто-либо в наши дни употребляет такие фразы: “У него есть *реши- тельный талант* ак- тера”; “Этот человек – *реши- тельный негодяй*”.

Кроме того, и некоторые другие словосочетания с прилагательным *реши- тельный*, приводимый в цитатах в БАС и МАС, не характерны для современного узуса. Например: “Маша день ото дня отлагала *ре- ши- тельное объявление* (свадьбы)” (А. Пушкин); “Наступил 1807 год. Шла *реши- тельная война* с Наполеоном” (С. Аксаков); “– Барин при- казал узнать *реши- тельную цену* Задворке с Выжигалом (собакам)” (Н. Успенский); “Вспоминалась своя собственная *реши- тельная откро- венность*” (Л. Толстой); “(Мастеровой) дает самый *реши- тельный за- рок* не пить...” (Гл. Успенский).

Все эти примеры свидетельствуют о том, что давать толкование зна- чений прилагательного *реши- тельный* на основе ограниченного числа иллюстраций из литературы XIX и даже первой половины XX века вряд ли в настоящее время оправданно. Для адекватного толкования таких слов необходим тщательный анализ большого языкового мате- риала второй половины XX века, особенно его последних десятилетий, что вполне может быть реализовано благодаря применению современ- ной вычислительной техники.

К сожалению, и Словарь Ожегова (как под редакцией, так и при со- авторстве Н.Ю. Шведовой) не дает, на наш взгляд, достаточно полной и четкой картины употребления этого прилагательного. Наиболее удачное и современное толкование этого слова содержится, как нам представляется, в “Большом толковом словаре русского языка” С.А. Кузнецова (СПб, 1998):

1. Смелый в принятии решений, не колеблющийся в их исполнении. (*Р. врач, руководитель, характер, юноша*).

|| Выражающий решимость, смелость, непреклонность; исполненный этих качеств. (*Р. тон, почерк, взгляд, шаги*).

2. Окончательный и вполне определенный; категорический. (*Р. от- каз, намерение, объяснение, шаг*).

3. Энергичный и достаточно жесткий. (*Р. действия, меры*).

Тем не менее, опираясь на собственную картотеку иллюстративных примеров, мы хотели бы внести некоторые коррективы и уточнения в это толкование, выделив, в частности, смысловой оттенок первого значения в качестве самостоятельного значения и расширив перечень существительных, вообще сочетающихся с этим прилагательным. Вот как в нашей интерпретации выглядит толкование этого слова:

1. Смело и быстро принимающий решения и не колеблющийся в их исполнении. (*Р. человек, мужчина, женщина, юноша, девушка, начальник, руководитель, менеджер, командир, офицер, генерал, президент, министр, милиционер, хирург* и др.).

2. Выражающий смелость, твердость и непреклонность. (*Р. характер, нрав, взгляд, вид, выражение лица, жесты, движения, походка, шаги, поза, тон, интонация, почерк* и др.).

3. Резкий, категорический, окончательный. (*Р. отказ, отпор, ответ, протест, несогласие, намерение, требование, слова, заявление, возражение, объяснение, суждение, позиция, поворот во взглядах* и др.).

4. Энергичный и достаточно жесткий, радикальный. (*Р. действия, меры, борьба, поступок, перемены, реформы, поведение, шаг, удар, бой, атака, наступление* и др.).

Проиллюстрируем сказанное цитатами из художественной и общественно-политической литературы последних десятилетий:

“Я убеждена, что новое поколение – это поколение *решительных людей*” (Домашний очаг. 1998. Дек.); “Ольга – *девушка* целеустремленная и *решительная*, а потому и большой для всех спортсменов вопрос, что делать после ухода из спорта, ее не мучает” (Домашний очаг. 1999. Май); “Вера, милая, обаятельная Вера, отличавшаяся на редкость смелым и *решительным нравом*, погибла в двадцатом...” (Комс. пр. 1999. 6 июня); “Глядя на Нину с ее гладко зачесанными блестящими волосами и *решительным*, твердым *взглядом*, я подумал, что брату, пожалуй, повезло с женой” (В. Каверин. Петроградский студент); “Володя, отвергнутый Люсей, переметнулся к нашей соседке по столу, но встретил *решительный отпор*” (И. Гофф. Женщина и собака); “Впрочем его (Твардовского) весьма *решительные суждения* не имели обычно директивного характера” (В. Лакшин. Твардовский в “Новом мире”); “В этой патовой ситуации необходимы *решительные* и нестандартные *действия*” (Мир за неделю. 1999. № 10).

Как видим, приведенные примеры показывают характерную для каждого значения этого слова лексическую сочетаемость. Таким образом, предлагаемое нами выделение и разграничение значений прилагательного *решительный* основано прежде всего на учете семантики того или иного круга существительных, с которыми оно сочетается. Так, первое значение относится исключительно к существительным, обозначающим людей. Выделение второго значения обусловлено семан-

тикой существительных, обозначающих внешние, невербальные проявления человеческой природы. Третье значение связано с семантикой существительных, обозначающих внутренние (психические или вербальные) проявления человеческой природы. И, наконец, четвертое значение охватывает существительные, связанные с активной стороной деятельности человека или ее результатами. При таком подходе, как нам представляется, все существительные, сочетающиеся в настоящее время с прилагательным *решительный*, могут быть четко и непротиворечиво распределены по “полочкам” значений этого прилагательного.

Особо следует остановиться на том, что одно из основных значений слова *решительный*, выделяемых Словарем Ушакова, БАС, МАС и Словарем Ожегова (а именно: “Наиболее важный, определяющий дальнейший ход, развитие чего-л.; решающий”) в настоящее время уже не является актуальным и потому не включается нами в толкование этого прилагательного. Дело в том, что некоторые словосочетания типа *решительная война, решительное влияние и решительное значение*, которые служили в качестве иллюстрации этого значения в БАС и МАС, практически уже не употребляются. Другие же (например, *решительные действия, решительный шаг, решительный бой, решительное наступление*) хотя и употребляются, но претерпели определенные семантические сдвиги и должны теперь рассматриваться в качестве иллюстрации к значению “энергичный и достаточно жесткий, радикальный”, которое мы выделяем под номером четыре. Проиллюстрируем это положение примерами из современной периодики:

“А ведь план выглядел весьма многообещающим. *Решительные* пропагандистские *действия* были предприняты на широчайшем фронте” (Мир за неделю. 1999. № 7); «Московский зоопарк уже не первый год предпринимает *решительные шаги* к тому, чтобы словесный штамп “братья наши меньшие” превратился в живую реальность” (Мир за неделю. 1999. № 9).

Мир предполагает, что именно по этим или сходным причинам и составил “Большого толкового словаря русского языка” С.А. Кузнецов не включил значение “наиболее важный, определяющий дальнейший ход, развитие чего-л; решающий” и свое толкование прилагательного *решительный*. Более того, на основе анализа многочисленных примеров из современной литературы можно сделать вывод о том, что указанное “спорное” значение этого прилагательного в результате полувековой семантической “экспансии” его юного “родственника” *решающий* полностью закрепилось сейчас за последним.

Перейдем теперь к анализу паронима *решающий*. Каких-либо принципиальных различий в толковании этого адъективированного причастия в существующих словарях нет. Исходя из этого, его значение мож-

но сформулировать следующим образом: “Главный, основной, наиболее важный; определяющий дальнейший ход, развитие чего-л.”

За указанный сравнительно короткий отрезок времени этот пароним получил весьма широкое распространение и, вытеснив своего “прадедушку” со “спорной территории”, с каждым днем завоевывает все новые и новые лексические “рубежи” за счет расширения своей лексической сочетаемости. Приведем перечень основных существительных, с которыми сочетается сейчас это слово: *влияние, значение, роль, сила, характер* (в знач.: “отличительное свойство”), *аргумент, довод, критерий, фактор, соображение, мнение, преимущество, поддержка, обстоятельство, вопрос, проблема, выбор, толчок, звено, разговор, слово, голос, голосование, деталь; бой, наступление, сражение, битва, штурм, операция* (военная и медицинская), *удар* (в различных значениях), *схватка* (в различных значениях), *поединок* (в знач.: “борьба двух противников, соперников”), *успех, победа; партия* (в знач.: “одна игра”), *встреча* (обычно в знач.: “соревнование, состязание”), *матч, тур* (в спорте и политике), *забег; этап, период, стадия, фаза, момент, миг, минута, день* и т.д. Приведем ряд примеров:

“Их (соседей) благоприятное мнение о вас может сыграть *решающую роль* при выдаче вам паспорта” (Профиль. 1999. № 14); “Требует ответа *решающий вопрос*: как достигается сочетание несочетаемого?” (Известия. 1994. 11 июня); “Сборная США готовилась к игре, как к *решающему бою*” (Известия. 1994. 6 июля); “Сегодня вечером или завтра утром ожидается *решающее голосование*” (Коммерсант. 1999. 11 февраля); “Лина Красноручкая, блестяще отыграв второй и половину третьего сета, все же проиграла *решающую партию*” (Мир за неделю. 1999. № 9); “Пришло время нанести *решающий удар* по противнику, имеющему слабых друзей и мощных врагов” (Деньги. 1999. № 6); «А борьба с газетой “Советская культура” тем временем вступила в *решающую фазу*» (Э. Рязанов. Заэкране).

Подавляющее большинство перечисленных существительных не может сочетаться с прилагательным *решительный*. А те немногие (например, *бой, битва, наступление, сражение, шаг, удар*), которые все же допускают подобную сочетаемость, образуют словосочетания, не являющиеся синонимичными по отношению к словосочетаниям, состоящим из тех же существительных с паронимом *решающий*. Таким образом, можно сделать вывод о том, что к настоящему времени произошло практически полное разграничение значений между паронимами *решительный* и *решающий*. А это, в свою очередь, является еще одним подтверждением ранее отмеченной нами тенденции к размежеванию паронимов, имеющих в силу некоторых исторических причин синонимические значения.

### *Из эпистолярного наследия Р.О. Яковсона*

В истории филологии есть, казалось бы, незначительные эпизоды, которые редко останавливают на себе внимание современных исследователей. Между тем в таких “осколках” порой раскрываются неизвестные широкой научной общественности события и обстоятельства взаимоотношений российских ученых с их соотечественниками, ставшими по воле трагических дней революции и гонений “невозвращенцами”, но жившими надеждой вернуться в Россию, любовью к родной стране и огромным желанием общаться с близкими по духу людьми.

Одним из таких мужественных деятелей науки был Роман Осипович Яковсон (1896–1982). Судьба на долгие годы разлучила его с друзьями молодости, и только с середины 1950-х годов он мог беспрепятственно вновь приезжать на Родину, где не был без малого 40 лет.

Труды и архивы Р.О. Яковсона (как отечественные, так и зарубежные) не раз становились предметом пристального внимания исследователей, об ученом написаны монографии, составлена библиография его работ и т.д. Но все же мы полагаем, что каждая находка, пусть даже такая незначительная, как несколько писем, поможет читателям ближе понять мир идей и увлечений этого, без сомнения, талантливейшего филолога и большого человека.

В предлагаемой подборке как раз именно “человековедческая” ипостась его эпистолярного наследия важна для нас, ибо раскрывает само существо его личности, его отношение к людям и прежде всего – готовность помочь другу, коллеге, просто знакомому человеку письмом, советом, настоящим мужским поступком. И делал это Р.О. Яковсон “без натяжки”, не напрягаясь и как бы обязывая себя (ведь жил он все же в лучших условиях), а по-братски, сочувственно.

У Романа Осиповича Яковсона особый эпистолярный стиль. И его тональность во многом зависит от адресата. В письменном общении, впрочем, как и в дружбе, ему был всего ближе П.Г. Богатырев, известный российский ученый-этнолог, фольклорист, знакомый Р.О. Яковсону с молодых лет и часто общавшийся с ним во время командировки в славянские государства в 1920-е годы. Многие связывало его и с Г.О. Винокуром, и с А.А. Реформатским, частые встречи на конгрессах с В.В. Виноградовым также способствовали расширению его научных связей. Думаем, что можно назвать еще немало имен, с кем поддерживал контакты Р.О. Яковсон. Но все же если с В.В. Виноградовым он более об-

щался как с официальным лицом, главой советской филологии тех лет, и был довольно краток в посланиях к нему, но, как всегда, корректен и внимателен, то переписка с П.Г. Богатыревым и с его сыном Константином Петровичем была иной – живой, ироничной, где многое можно было обсудить, поделиться сокровенным, “излить душу”...

К Константину Петровичу Богатыреву Р.О. Яковсон испытывал не просто “отеческие” чувства, позволяя себе даже воспитывать его, но нечто большее. Он знал и о судьбе К.П. Богатырева, едва ли не самой печальной и трагической из тех, что случались в “спокойные” послевоенные годы и много позднее. Говорят, на склоне лет Роман Осипович хотел вернуться в Россию навсегда и здесь закончить свой земной круг, даже рассматривались перспективы..., но трагически оборвавшаяся жизнь молодого и талантливого сына своего ближайшего друга, быть может, его остановила. Несмотря на “новые” времена, старые порядки истребления людей еще действовали и едва ли исчезли после. Еще и потому небольшие фрагменты переписки Р.О. Яковсона, найденные в Архиве РАН, для нас значительны как “осколки памяти” об одном из самых одаренных исследователей и поэтов – Константине Петровиче Богатыреве.

Обращаем внимание и на письмо Р.О. Яковсона Н.М. Малышевой, жене и многолетнему преданному помощнику В.В. Виноградова в деле переписки, неизменно наполнявшей ее особым, женским, трогательным обаянием. Многие ее письма и открытки были самодельными, с аккуратно вырезанными и наклеенными на бумагу украшениями, рисунками, придававшими неповторимое изящество каждому такому посланию. Р.О. Яковсон, как видно из письма, знал о проблемах со здоровьем у В.В. Виноградова и живо откликнулся на просьбу помочь найти лекарство.

И последнее, что хотелось бы заметить во вступлении. Это отголосок того памятного юбилейного конгресса “100 лет Р.О. Яковсону”, проходившего в 1996 году в Российском государственном гуманитарном университете. В заключительной речи В.Н. Топоров говорил, что у нас долг перед Яковсоном (прежде всего, разумеется, моральный, исследовательский). “Я опасаясь, – продолжал он, – что в яковсоновской эйфории мы забудем тех людей, которые его знали. Самое неотложное дело – восстановить биографию Яковсона московского периода”. Сказанное, полагаем, можно отнести и ко “второму” московскому периоду (первый – до отъезда в революционные годы), частные эпизоды которого до сих пор остаются неизвестными. Лишь немногие публикации последних лет, особенно “*Cahiers Roman Jakobson, 1*”, изданные Мичиганским университетом в 1994 году, подтверждают тезис о необходимости вновь и вновь искать и изучать наследие мировой науки.

Тексты писем воспроизводятся с сохранением авторского словоупотребления и стиля. В ряде случаев пунктуация приведена в соответствии с современными нормами.

Р.О. Якобсон – К.П. Богатыреву

Роман Якобсон

6 октября 1956 г.

Дорогой Костя!

Большое спасибо за письма, за прекрасный перевод Рильке и за стихи в Знамени<sup>1</sup>, которые меня всячески порадовали. Очень вспоминаю автора и сердечно кланяюсь.

Дальнейшие томы Рильке еще не вышли. Когда появятся, получу их и пошлю тебе. Сейчас постараюсь раздобыть те другие книги, о которых ты пишешь. Пластинки приобрел: “Порги и Бесс” Гершвина, новый джаз Армстронга и две пластинки Стравинского – “Весна священная” для тебя, а другая “История солдата” для Тамары. Их упаковка и посылка – довольно сложная вещь. Я это сделаю на днях через университетскую библиотеку одновременно с посылкой для Музея Маяковского пластинок, наговоренных Маяковским и технически усовершенствованных здесь, а также стихов Маяковского, записанных здесь на пластинки с моего чтения.

Я точно должен знать номер граммофонных иголок, которые тебе нужны. Тогда пошлю. Или привезу вместе с галстуками. Очень жду новой книги Пастернака и Нового мира<sup>2</sup>. Если можете, закажите для меня и пришлите карту народов СССР, изданную в Минске в 1955–56 гг. Этнографическим институтом им. Миклухо-Маклая<sup>3</sup>, а также Ученые Записки Ленинградского пединститута им. Герцена, т. 80, кафедра русского языка, 1949 г. (Филин. Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи). Если ее трудно достать, лучше всего передать мою просьбу В.И. Борковскому. Очень прошу тебя написать, как поживает Овадий<sup>4</sup>. Скажу ему, что я и моя недомогающая старая приятельница были бы очень счастливы услышать о его здоровье. Пусть, если ленится писать, черкнет мне хоть открытку.

Прилагаю для Петра библиографию к моему курсу по былинам и очень жду от него письма о его науке и Соне<sup>5</sup>.

Я очень рад, что ты увлекся университетскими занятиями. А я по горло занят и университетом, и расплатой по многочисленным литературным обязательствам. Сдал Лихачеву большую статью о Слове о полку Игореве с библиографией и своим переводом Слова для Трудов Отдела древнерусской литературы<sup>6</sup>. А сейчас тружусь для Лит(ературного) наследства<sup>7</sup>.

Всех троих обнимаю.

Твой

Роман

**Р.О. Якобсон – Н.М. Малышевой**

7.XII.62

Дорогая Надежда Матвеевна,  
аппарат для уколов инсулина будет Вам передан на днях и с иглами. Хотя Эджертон<sup>8</sup> написал Вам, что такого аппарата не существует, здесь в Бостоне это изобретение было только что пущено в ход в главном госпитале, так что мне удалось, к счастью, раздобыть его.

Что касается диабета, о котором Виктор Владимирович говорил мне в Москве, я передал его еще в октябре дочери моего французского приятеля, и я надеюсь, Вы его уже получили. Пожалуйста, подтвердите и сообщите, послать ли новую порцию того же лекарства.

С сердечными предпраздничными пожеланиями здоровья, благополучия и всяческих отпад Вам обоим.

Преданный Вам  
Роман Якобсон.

*Архив РАН. Ф. 1602. Оп. 1. Ед. хр. № 556. Автограф.*

**Р.О. Якобсон – Т.Ю. и К.П. Богатыревым**

4.XI.72

Наисердечнейший привет Тебе и Косте. Очень часто о Вас думаем и надеемся свидеться. Моя статья о Петре<sup>9</sup> выйдет в парижском антропологическом журнале L'Homme в 1973 г. Его отсутствие ощущаю, да и не только я, все тягостней и болезненней. Работаю по обыкновению безустанно над рукописями, корректурами, лекциями и новыми мыслями. Крепко обнимаю. Пишите по обычному адресу.

Ваш и твой Роман.

*Архив РАН. Ф. 1651. Оп. 1. Ед. хр. № 442. Автограф.*

### Примечания:

<sup>1</sup> Константин Петрович Богатырев (1925–1976), сын П.Г. Богатырева, поэт-переводчик, широко известен как автор переводов Р.М. Рильке. Р.О. Якобсон имеет в виду публикацию стихов Б.Л. Пастернака в журнале “Знамя”, № 9, 1956. В нем напечатаны “Новые строки” Бориса Пастернака – цикл поэтических миниатюр: “Во всем мне хочется дойти до самой сути...”, “Ева”, “Без названия”, “Весна в лесу”, “Лето”, “Осенний день”, “Первый снег”, “Быть знаменитым”. Эти стихи Р.О. Якобсон также упоминает в своем письме к П.Г. Богатыреву от 11 июля 1956 года (Архив РАН. Фонд 1651, опись 1, ед. хр. № 438, л. 2 об.; см. также публикацию этого письма: Робинсон М.А., Досталь М.Ю. Пере-

писки Р.О. Якобсона и П.Г. Богатырева // Славяноведение. 1994. № 4. С. 73).

<sup>2</sup> Р.О. Якобсон имеет в виду 2-й том “Доктора Живаго” Б.Л. Пастернака. В № 10 за 1956 г. “Новый мир” публикует стихотворение Пастернака “Хлеб”.

<sup>3</sup> Вероятно, автор по ошибке указал Этнографический институт им. Миклухо-Маклая в Минске (следует полагать: в Москве). Именно в эти годы Ин-т этнографии им. Миклухо-Маклая АН СССР выпускает этнографические карты народов СССР. Среди них известны издания: Карта народов СССР. Учеб., для сред. школы. Сост. Ин-том этнографии им. Миклухо-Маклая АН СССР совместно с науч. ред. картосост. частью ГУГК в 1951 и испр. в 1955 / Руководители работ: д. ист. н. П.И. Кушнер, П.Е. Терлецкий. Редактор И.А. Баланцева. – М.: ГУГК, 1956. Эта же карта издана в 1955 году в Москве на украинском и русском языках. Возможно, именно эти карты имеет в виду Р.О. Якобсон.

<sup>4</sup> Овадий – так иронично и ласково называл Р.О. Якобсон своего близкого друга и соратника в науке П.Г. Богатырева (1893–1971).

<sup>5</sup> С.И. Богатырева – литературовед, первая жена К.П. Богатырева.

<sup>6</sup> См.: Якобсон Р.О. Изучение “Слова о полку Игореве” в Соединенных Штатах Америки // Труды Отдела древнерусской литературы Ин-та русской литературы (Пушкинского Дома). Т. XIV. – М., 1958. С. 102–121.

<sup>7</sup> Р.О. Якобсон готовил материалы о Маяковском для выпускаемого тома “Литературного наследства”, которому не суждено было увидеть свет. Как пишут М.А. Робинсон и М.Ю. Досталь (Славяноведение. 1994. № 4. С. 74), «в серии “Лит. наследство” предполагалось издать два тома, посвященные В.В. Маяковскому, но вышел только первый том. Печатание второго тома было запрещено решением высоких инстанций...».

<sup>8</sup> Эджертон (Edgerton) Вильям, профессор славянских языков и литературы Индианского университета в Блумингтоне (США). Академик В.В. Виноградов лично знал ученого еще со времени IV Международного съезда славистов, проходившего в Москве в 1958 году. В. Эджертон был тогда в составе американской делегации. В 1960-х годах он снова приехал в Москву для сбора материалов о Лескове. Его письмо Н.М. Малышевой от 23 декабря 1962 г., упомянутое Р.О. Якобсоном, имеется в личном фонде В.В. Виноградова (ф. 1602) в Архиве РАН. Вот его текст (машинописный автограф на русском языке, последнее слово “В. Эджертон” написано от руки черными чернилами):

Глубокоуважаемая Надежда Матвеевна!

Как только получил Ваше письмо от 13 ноября, я сразу позвонил своему доктору. К сожалению, такая коробочка для автоматических уколов инсулином ему совсем неизвестна. Ему кажется, может быть,

Вы слышали о таком огромном аппарате, который употребляется в армии для того, чтобы делать солдатам массовые уколы против разных болезней. Я расспрашивал его обо всем, что касается диабета и его лечения. Он мне сказал, что никакого средства все еще нет, что могло бы окончательно вылечить диабетиков. Его пациенты-диабетики просто делают себе уколы обычным способом, или в руку, или в бедро. Он вызвался разыскать мне фотографии таких простых приборов, которые употребляются его пациентами. Получив их, я Вам пришлю. Если они окажутся более удобными, то я буду рад доставить Вам их.

Кстати, я не забыл справиться сразу после своего возвращения домой из Москвы о том лекарстве против диабета, о котором Вы мне говорили. Но, к сожалению, оно не может вылечить.

Сердечно благодарю Вас за эти прекрасные открытия с репродукциями картин из Эрмитажа. Мы с женой шлем Вам с Виктором Владимировичем самые лучшие пожелания.

С глубоким уважением

В. Эджертон

<sup>9</sup> Статья о П.Г. Богатыреве отсутствует в *L'Homme: Revue française d'anthropologie* за 1973 год. Тома XII и XIV за 1972 и 1974 гг. этого издания также не содержат статьи Якобсона. Мемориальную заметку см.: Jakobson R. Petr Bogatyrev (29.I. <18> 93–18.VIII. <19> 71): Expert in transfiguration // *Sound, Sign and Meaning: Quinquagenary of the Prague Linguistic Circle*, ed. L. Matejka. – Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 1976.

Вступительная статья,  
подготовка текстов и  
примечания **О.В. Никитина**



## “...В пользу сельского домостроительства”

*Языковые особенности  
работ по земледелию А.Т. Болотова*

*Г.И. БАГРЯНЦЕВА,  
кандидат филологических наук*

Годы правления Екатерины II, названные дворянством “золотым веком”, выразились в небывалом расцвете общественной публицистики. Разнообразные периодические издания способствовали развитию и совершенствованию научного и публицистического стилей русского литературного языка. Большой вклад в формирование приемов научного изложения, доступного восприятию широких читательских масс этого периода, внес *Андрей Тимофеевич Болотов*, по словам С.А. Венгерова, “самый плодовитый русский писатель”, ученый, публицист.

Особенно показательны в этом отношении публикации А.Т. Болотова по вопросам агрономии, основоположником которой в России он являлся. Его статьи “Примечания о хлебопашестве вообще” (1768 г.) и “О способе к получению сельским жителем некоторого количества хлеба сверх обыкновенного урожая” (1775 г.) были напечатаны в Трудах Вольного экономического общества, с которым он активно сотрудничал. Материал статей позволяет судить об индивидуально-авторской манере письма А.Т. Болотова, прослеживающейся на разных уровнях системы языка.

Предметом рассмотрения этой статьи является своеобразие упот-

ребления А.Т. Болотовым морфологических средств русского литературного языка 60–70-х годов XVIII века.

В области морфологии Андрей Тимофеевич Болотов, отдавая предпочтение языковым единицам, нейтральным по стилистической окраске, узаконенным М.В. Ломоносовым для жанров среднего стиля, использовал также словоформы, которые характеризуют его как интересного и самобытного автора.

Отличительной чертой агрономических работ А.Т. Болотова является употребление в них вещественных существительных, относящихся к трем тематическим группам: 1) названия растений – *гречиха, овес, просо, пшеница, рожь, ячмень*; 2) названия пищевых продуктов – *хлеб*; 3) названия удобрений – *зола, навоз, солома*.

Наиболее часто встречаются существительные *хлеб* (12 раз) и *навоз* (7 раз), например: “Вот сколь великое число пропадает у нас с одной сей стороны родящегося *хлеба*”; “...а теперь только скажу, что хотя бы *навоза* вовсе на оные земли недоставало, то можно многие другие средства найти...” (Курсив в цитатах наш. – Г.Б.).

В качестве второй особенности морфологического строя статей по земледелию можно назвать их насыщенность сложными существительными, созданными по образцам церковнославянского языка, то есть путем сложения основ. При этом в “Примечании о хлебопашестве вообще” таких слов нами отмечено 23, а в статье “О способе получения сельским жителем некоторого количества хлеба...” – 11. Самыми употребительными существительными являются: сельский *домостроитель* (11 раз), *хлебопашество* (11 раз), (сельское) *домостроительство* (7 раз), *земледелие* (6 раз), *земледелец* (3 раза), *вышеупомянутый* (3 раза) и *многообразный* (2 раза). Часть из этих слов имеет терминологическое значение, например: “Какую важную часть *земледелия* или собственное *хлебопашество* составляет во всем сельском *домостроительстве*, сколь оно нужно и для всех полезно, о том повторять за излишнее почитаю”.

Большое количество сложных слов-терминов встречается и в научных публикациях М.В. Ломоносова: время *равноденственных новолуний* и *полнолуний*, *разноимённые полюсы*, *шаровидный эфир* (Бурдин С.М. Роль М.В. Ломоносова в создании естественнонаучной терминологии в русском литературном языке. Автореф. канд. дисс. М., 1952). Отмеченная черта позволяет говорить об одинаковом пути двух ученых в создании языка русской науки.

В анализируемых статьях Болотов употреблял и сложные слова с традиционным для прозаических произведений второй половины XVIII века компонентом *благо*: *благополучный* и *благосклонный*. Такие прилагательные используются им в качестве эпитетов, несущих положительную оценку тем реалиям жизни, которые описывал автор: “... о том писать, конечно бы, еще не осмелился, если б не понужден

был к тому *благоклонным* принятием прежних моих экономических сочинений...”; "... несомненная надежда, что при нынешних *благополучных* временах...”

Приведенные здесь контексты не являются собственно-научными. Они несут в себе не столько информативную функцию, сколько воздействующую. Этим и можно объяснить употребление в них слов с компонентом *благо*.

А.Т. Болотов не только использовал в своих статьях уже имевшиеся в языке сложные слова, но и создавал новые. Примером этому может служить *домосодержатель*, встречающееся в “Примечании о хлебопашестве вообще”: “Всё производство земледелия и хлебопашества отдастся у нас обыкновенно на волю мужиков, а *домосодержатель* только о том старается, чтоб известные полевые работы исправно производимы были”. *Домосодержатель* отсутствует как в словнике 4-го выпуска СлРЯ XI–XVII вв., так и в словнике 6-го выпуска СлРЯ XVIII века. Отмеченный факт позволяет утверждать, что это сложное слово является авторским неологизмом. А сам процесс создания новых слов, особенно терминов, по такой модели был живым для рассматриваемого периода.

Вместе с тем необходимо отметить, как осторожно Андрей Тимофеевич Болотов вводил новые слова в обиход. Его бережное отношение к русскому языку, желание не засорять речь избыточными образованиями распространялось и на других писателей и публицистов. Так, сохранился критический отзыв А.Т. Болотова на стремление к созданию новых сложных слов молодого в то время писателя П. Львова, проявившееся в его романе “Российская Памела, или история Марии, добродетельной помещанки” (1789 г.): “Что касается до отваги господина сочинителя помещать тут же в сочинении своем вновь испеченные и нимаго еще необыкновенные слова, как, например, *себялюбие, себялюбивый, белольнистая борода, флейтоигральщик, челопреклонцы, великодумы, щедрохищники* и другие тому подобные; так в сем случае он совсем уже неизвинителен, и ему было б слишком еще рано навязывать читателям подобные новости, а надлежало б наперед аккредитоваться поболе в сочинениях” (Литературное наследство. М., 1933. № 9–10).

Кроме отмеченных особенностей стиль научного изложения А.Т. Болотова в агрономических статьях отличает также употребление производных предлогов. Среди них есть наречные простые: *вместо, кроме, напротив, сверх*; наречные составные: *поблизости к* и отыменные составные: *в пользу, в рассуждении, в случае*. С помощью этих предлогов выражаются: 1) отношения замещения – *вместо гречихи, вместо (прежнего) отращения*; 2) отношения лишения, удаления, ограничения – *кроме сего, кроме того*; 3) отношения меры, нормы – *сверх того*; 4) отношения условия – *в случае предприятия*; 5) объект-

но-целевые отношения – *в пользу (сельского) домостроительства*; 6) пространственные отношения – *поблизости к ним*; 7) причинные отношения – *в рассуждении хлебопашества*; 8) уступительные отношения – *напротив того*.

Самым употребительным является предлог *в рассуждении*, имеющий значение “что касается до, относительно кого – чего-нибудь” и встречается 23 раза, что как нельзя более соответствует характеру научного изложения.

Будучи однозначными, производные предлоги позволяли А.Т. Болотову наиболее точно выразить отношения в контексте. Состав производных предлогов и их семантическое разнообразие говорят о стилистическом новаторстве ученого и публициста, ибо большая часть производных предлогов появилась именно во второй половине XVIII века. Дальнейшие исследования позволят установить авторство многих из них.

Морфологическое оформление статей А.Т. Болотова по вопросам земледелия отражает и наметившийся процесс разрушения системы трех стилей М.В. Ломоносова вследствие использования в одном контексте разностилевых элементов.

Так, Андрей Тимофеевич в своих публикациях употреблял большое количество имен прилагательных в превосходной степени на *-ейший*, *-айший* и *-ий*, которые М.В. Ломоносов в “Российской грамматике” признавал приметой “важного и высокого стиля, особливо в стихах” (Ломоносов М.В. Российская грамматика // Ломоносов М.В. Соч. СПб., 1898. Т. 4. § 215). Среди них особое предпочтение Болотов-публицист отдавал следующим: *важнейший*, *вождеднейший*, *меньший*, *множайший*, *нужнейший*, *удобнейший*, а также употреблял: *возможнейший*, *искуснейший*, *разумнейший*, *скорейший*, *способнейший* и другие.

Встречаются прилагательные в превосходной форме и с приставкой *наи-*, усиливающей проявление признака: *наибольший*, *наиглавнейший*, *наиприлежнейший*, *наипростейший*. Кроме того А.Т. Болотов пробовал создать компилятивные формы, типа *самый лучший*, *самый худший*, призванные выразить предельную степень качества, что вновь отражает его новаторские тенденции в области структуры языка: “...известно, что в *самые лучшие* годы она сама четверта не родится...”, “...не следовало ли бы само собою, чтоб земледельцу наперед об исправлении *самых худших* земель стараться?”

Помимо прилагательных нами отмечены отдельные случаи употребления форм превосходной степени наречий: *наилучше*, *наинадежнейше* и другие: “По мнению моему, желающий качество земель своих узнать сельский домостроитель *наинадежнейше* поступит, буде то из предпринимаемых разных опытов примечать станет”.

Наряду со словоформами, предназначенными для жанров высокого стиля, в агрономических статьях А.Т. Болотова встречаются морфоло-

гические формы низкого или простого слога. Примером могут служить глаголы многократного вида – *бывало, назначивал, расхваливали, севал* и другие: “...примечается, что можно сим образом *ограбливать* и два раза...”; “...о том мне *сказывать* не для чего”.

Употребление таких глаголов в научно-публицистических текстах отражает наметившийся в литературном языке в целом, а не только в художественно-беллетристических жанрах процесс структурного сближения стилей. И Болотов-публицист принимает в нем деятельное участие.

“...Сложная и противоречивая эволюция литературной речи не могла уместиться в русло трех стилей...” – писал об этом времени академик В.В. Виноградов (Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX веков. М., 1982).

Таким образом, Андрей Тимофеевич Болотов, известный писатель, мемуарист, ученый, многое сделал и в области научной публицистики, придавая своим статьям тщательно выверенное, отточенное морфологическое оформление. Его публикации по вопросам агрономии отражают постоянный поиск новых форм, способных придать изложению не только убедительность, но и выразительность. Благодаря этим качествам статьи Болотова в Трудах Вольного экономического общества вызывали живейший интерес у современников и способствовали развитию собственно русской национальной манеры научно-популярного изложения.

Тула

---

---

## Отвечаем любознательным

---

---

### Яблоко раздора

Выражение это означает: предмет, причина спора, ссоры, вражды. Впервые его употребил римский историк Юстин. Основано оно на греческом мифе. Богиня раздора Эрида покатила между гостями на свадебном пире золотое яблоко с надписью: “Прекраснейшей”. В числе гостей были богини Гера, Афина и Афродита, которые заспорили о том, кому из них предназначено яблоко. Спор их разрешил Парис, сын троянского царя Приама, присудив яблоко Афродите. В благодарность Афродита помогла Парису похитить Елену, жену спартанского царя Менелая, из-за чего произошла Троянская война.

## *Исповедь земле у Ивана Шмелева*

В.В. КАЛУГИН,

доктор филологических наук

Первым широко распространенным еретическим движением в Древней Руси было стригольничество. Название *стригольник* происходит от обряда пострижения при посвящении в секту. Стригольничество возникло в Новгороде около середины XIV столетия, а затем перекинулось в Псков, где в первой четверти XV века достигло расцвета. Стригольники осуждали симонию (поставление священнослужителей за деньги), выступали против монастырского землевладения. Наиболее крайние еретики не верили в воскресение мертвых. Они отрицали духовенство и монашество, проповедовали непосредственную связь человека с Богом. Из всех церковных таинств и обрядов стригольники признавали только исповедь. Но исповедовались они не духовенству, а земле (Казакова Н.А., Лурье Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – начала XVI в. М.–Л., 1955).

Обряд стригольников вызвал разные объяснения, но большинство исследователей справедливо видят в нем отголосок древнего языческого культа Матери-Земли, на который легли христианские традиции (подробнее см.: Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1994. Т. 1; Смирнов С.И. Исповедь земле. Сергиев Посад, 1912; Рыбаков Б.А. Стригольники: Русские гуманисты XIV столетия. М., 1993).

Древность этого культа подтверждает “Повесть временных лет”. В поучении против латинян (!) князю Владимиру после его крещения в Корсуни в 988 году говорится: «Паки же и землю глаголють материю. Да аще им есть земля мати, то отець им есть небо, искони бо створи Бог небо, таже землю. Тако глаголють: “Отче наш, иже еси на небеси”. Аще ли по сих разуму земля есть мати, то почто плюете на матерь свою? Да семо ю лобъзаете, и паки оскверняете?» (Повесть временных лет. 2-е изд. СПб., 1996). Все это рассуждение надо рассматривать как древнерусскую вставку в поучение, направленную не против Римской церкви, в которой нет таких обрядов, а против восточнославянского языческого почитания Матери-сырой земли (там же).

Исповедь земле стала объектом специальной критики в древнерус-

ском поучении “Списание от правила святых апостол и святых отец... на стригольники”. Произведение приписывалось епископу Стефану Пермскому, архиепископу Дионисию Суздальскому, патриарху Константинопольскому Антонию, но вопрос о его авторе и редакторе окончательно не решен до сих пор.

В “Списании” обычай исповедоваться земле связан с именем учителя еретиков дьякона Карпа: “Еще же и сию ересь прилагаете, стригольницы, велите земли каяться человеку... А кто исповедается земли, то исповедание не исповедание есть: земля бо бездушна тварь есть, не слышит и не умеет отвечать и не въспретит съгрешающему. Того для не подасть Бог прощения грехов к земле исповедающемуся. Сю бо злую сеть дьявол положил Карпом стригольником, что не велел исповедаться к попом, дабы от попов честь ерейскую отнял, еже им Христос дал вязати и разрешати грехи” (Казакова, Лурье. Указ. соч.).

В 1375 году ересарх Карп и еще два вождя стригольников были казнены в Новгороде: их сбросили в Волхов с моста и утопили.

Древнее почитание Матери-сырой земли как хранительницы нравственного закона сохранялось в народном сознании долгое время. Оно нашло отражение в романе И.С. Шмелева “Лето Господне”, где описываются события спустя 500 лет после казни стригольников – празднование Троицына дня в 1879 году в купеческой семье в Замоскворечье.

Хранителями этого обряда в романе являются самые набожные герои, олицетворяющие народную нравственную правду: прабабушка Устинья Васильевна и старый плотник Михаил Панкратьевич Горкин. Это “святые”, “старинные, заповедные” люди, стоящие “на правде”, – как неоднократно говорится о них в романе.

Накануне Пятидесятницы, дня Святой Троицы, Горкин рассказывает маленькому Ване: «Прабабушка Устинья одну молитовку мне доверила, а отец Виктор сердчает... нет, говорит, такой! Есть, по старой книге. Как с цветочками встанем на колени, ты и пошопчи в травку: “И тебе, мати сыра-земля, согрешил, мол, душой и телом”. Она те и услышит, и спокаешься во грехах. Все ей грешим».

В “старых книгах” такая молитва действительно есть. В Древней Руси «при чтении молитв на Троицкой вечерне не стояли только на коленях, но преклонялись головами к полу и... во время сего “лежания” читали молитву, в которой между прочим содержится воззвание от лица читающего: “и тебе, земля мати, согрешил есми душею и телом»» (Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. М., 1997. Т. 2: Первая половина тома). Е.Е. Голубинский считал возможным допустить, что стригольники в своем исповедальном обряде руководствовались этой молитвой.

Горкин точно повторяет ее текст, но обращение к земле имеет у него явно вторичный, фольклорный эпитет – “мати-сыра земля”. Соглас-

но народным представлениям, грехи людей оскорбляют землю, ложатся на нее невыносимой тяжестью. Матери-сырой земле исповедуются, но при всей своей материнской близости к человеку она прощает не все его проступки. Таким непощеным преступлением является убийство крестового брата в духовном стихе о трех грехах (Федотов Г.П. Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. М., 1991).

В соответствии с такими идеями “народного богословия” Горкин говорит Ване о том, что люди оскверняют землю, обременяют ее тяжестью грехов: “Все ей грешим. Вырастешь – узнаешь, как грешим. А то бы рай на земле-то был”. Во время церковного богослужения в день Святой Троицы старый плотник исповедуется земле – по крайней мере, так кажется маленькому Ване: “Горкин лежит головой в траве. В коричневом кулаке его цветочки, самые полевые, которые он набрал на Воробьевке. Почему он лицом в траве? Должно быть, о грехах молится”.

В романе И.С. Шмелева молитва земле изображена как потаенный обряд. Прабабушка Устинья не рассказала о нем открыто, а “доверила” как тайну Горкину. Тот свято хранит молитву даже вопреки протестам глубоко уважаемого им священника.

Предки И.С. Шмелева были старообрядцами. По линии отца они происходили из Гуслиц Богородского уезда Московской губернии (Кутырина Ю.А. Иван Сергеевич Шмелев. Париж, 1960). Гуслицы были одним из старообрядческих духовных центров, знаменитым особым стилем художественного оформления рукописных книг, медным литьем икон и крестов.

В романе “Лето Господне” о предках Устиньи Васильевны говорится, что они “были самые раскольные, стояли за старую веру крепко, даже дрались в Соборе при царице” – имеются в виду богословские прения, временами переходившие в драку, старообрядцев с новообрядцами 5 июля 1682 года в Грановитой палате в присутствии царевны Софьи Алексеевны. Предки Устиньи Васильевны и она сама были беглоповцами: они похоронены на Рогожском кладбище – центре старообрядцев этого согласия, и по ним совершают молебны священники “постаринному, старокнижному”.

Прабабушка Устинья первой в роду “из раскола наполовину вышла”. Ее потомки стали исповедовать официальное православие, но сохранили старозаветный жизненный уклад и связь со старообрядчеством.

Горкин, хотя и принадлежит к официальной церкви, относится к старообрядчеству с большим уважением. Под влиянием их строгого и чинного обряда он и Ваня “даже и пожалели.., что не по старинной вере”. Устинья Васильевна отказала Горкину в завещании «баночку зеленого стекла, на которой вылиты Богоявление с голубком и “светом” {...} А сосудик старинный это, когда царь-антихрист старую веру гнал, от

дедов прабабушки Устиньи». В авторской речи отчетливо звучит голос предков Устиньи Васильевны, называвших “царем-антихристом” императора Петра I.

От них и перешла к ней по наследству “старая книга” с древней редакцией молитвы на Троицкой вечерне, известной еще стригольникам. Против нее и выступал отец Виктор, приводя в свидетельство новую редакцию богослужебного текста без молитвенного обращения к земле, окончательно установившуюся после “книжной sprawy” патриарха Никона и его последователей во второй половине XVII века.

Обычай исповедать грехи земле, припадая к ней, сохранялся у части старообрядцев-беспоповцев (у некоторых последователей Спасова и поморского согласий) еще в XIX веке (Смирнов. Указ. соч.). Старообрядцы приписывали земле очистительную силу. Известны случаи, когда перед обедом и ужином они совершали особый ритуал – умывали руки землей, если не было воды (Коноплев Н. О сходстве между русскими и восточными обычновениями и о начале их в России // Вестник Европы, составляемый М. Каченовским. М., 1828. № 4).

По мнению Н.А. Казаковой, содержание обряда у стригольников “составляла исповедь не земле, обладающей функциями Божества, а Богу, присутствующему везде в природе” (Казакова, Лурье. Указ. соч.). Народные пантеистические представления переданы в романе через напряженное религиозное состояние маленького Вани. После совета Горкина исповедаться земле, а затем во время торжественного богослужения в церкви в Троицын день земля кажется ему живой – “молчит только”, а Бог видится в явлениях природы.

Эта глава является одной из центральных в романе. Духом высокого и чистого народного христианства проникнута беседа Михаила Горкина с Ваней о том, что на Троицу Господь посещает землю и благословляет ее – “и будет лето благоприятное”: «Завтра вся земля именинница. Потому – Господь ее посетит. У тебя Иван Богослов ангел, а мой – Михаил Архангел. У каждого свой. А у земли-матушки сам Господь Бог, во Святой Троице... Троицын день. “Пойду, – скажет Господь, – погляжу, во Святой Троице, навещу”. Адам согрешил. Господь-то чего сказал “Через тебя вся земля безвинная прокляна, вот ты чего исделал!” И пойдет. Завтра на коленках молиться будем, в землю, о грехах. Земля Ему всякие цветочки взрастила, березки, травки всякие... Вот и понесем Ему, как Авраам-царь. И молиться будем: “Пошли, Господи, лето благоприятное!”».

А.Н. Афанасьев, связавший исповедь земле у стригольников с древними языческими представлениями славян, отмечал, что “весною, когда земля вступает в брачный союз с небом, поселяне празднуют в ее честь Духов день; они не производят тогда никаких земляных работ, не пашут, не боронят, не роют земли и даже не втыкают кольев, вследствие поверья, что в этот день земля – именинница и потому надо дать ей

отдых” (Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу).

В романе “Лето Господне” хранителем этих народных преданий является Михаил Горкин. Он говорит о запрете на земляные работы, правда, не в понедельник – день Святого Духа, а в предшествующее ему воскресенье – Троицын день. После праздничного богослужения в церкви крестник Горкина “Андрейка вкопал березку и разлегся (...) Проходит Горкин и говорит Андрейке, что землю нынче грешно копать, земля именинница сегодня, тревожить не годится, за это, бывало, вихры нарвут. Хочет отнять березку, но я прошу. “Ну, Господь с вами, – говорит он задумчиво, – а только непорядок это”».

В народном сознании земля воспринимается как живое существо, а человек может не только каяться земле в грехах, но и оскорбить, осквернить ее, причинить ей боль (Смирнов. Указ. соч.). Такие представления отразились еще в “Повести временных лет”. В приведенном выше поучении князю Владимиру Святославичу содержится полемика с язычеством: “Аще ли по сих разуму земля есть мати, то почто плюете на матерь свою? Да семо ю любъзае, и паки оскверняете?”. Примечательно, что, когда сын Устины Васильевны решил замостить двор, она самым решительным образом воспротивилась этому. «...»Да что вы, – говорит, – двор-то уродуете, земельку калечите... побойтесь Бога!” – и прогнала» рабочих.

У И.С. Шмелева народные мотивы культа земли имеют религиозно-нравственную подоплеку. Г.П. Федотов, человек близких взглядов и одной судьбы с И.С. Шмелевым, писал, что с почитанием Матери-сырой земли “связана самая сердцевина народной религиозности” (Федотов. Указ. соч.). В романе “Лето Господне” соединены православие и народные обычаи, поверия и приметы, “древнее благочестие” Святой Руси и родовая память. Это соединение составляет высокую нравственную чистоту “православной русской веры”, живущей в сердце простого человека. Михаил Горкин наставляет маленького Ваню: “Православная наша вера, русская... она, милок, самая хорошая, веселая! и слабого облегчает, уныние просветляет, и малым радость (...) Наша вера хорошая, худому не научает, а в разумение приводит”. В оценке православия как веры, одним из главных качеств которых является духовное веселье, Горкин обнаруживает удивительную близость с послами князя Владимира, ходившими по его приказу испытывать разные религии и отвергшими мусульманство по той причине, что “несть веселья в них, но печаль” (Повесть временных лет).

Роман “Лето Господне” – самая настоящая исповедь родной земле. В эмиграции, с особой болью переживая утрату Святой Руси, И.С. Шмелев молился и исповедовался России, верил, что когда-нибудь, как и раньше на Троицын день, по Русской земле вновь пройдет Господь, благословит ее – и она возродится к новой, лучшей жизни: “и будет лето благоприятное” – лето Господне.



## КАК ИЗМЕНИТЬ ФАМИЛИЮ, НЕ МЕНЯЯ ЕЕ?

А.В. СУПЕРАНСКАЯ,  
доктор филологических наук

До недавнего времени в наших заграничных паспортах фамилии писались по нормам французского языка. Теперь мы стали получать новые заграничные паспорта, где французское написание фамилий заменено на английское. Многих интересует, к каким последствиям это может привести.

Существуют невидимые для глаз языковые барьеры. Вы их ощутите, попав в какую-нибудь страну, где все говорят “не по-нашему”. Вы оказываетесь как бы отгороженными от окружающей жизни, хотя никакого забора нет.

Языковые барьеры и границы языков не обязательно совпадают с государственными границами. Нередко между двумя родственными языками бывает полоса переходных говоров (например, от белорусского к польскому).

Исходя из идеи общедоступного международного языка для преодоления языковых барьеров многие стали разрабатывать основы особого искусственного языка, знание которого избавило бы человечество от необходимости изучения всех прочих языков. Так были созданы языки *идо*, *волапюк*, *оксиденталь* и ряд других. Самым жизненным из них оказался язык *эсперанто*, который в наши дни изучают не только в Европе и Америке, но и в Азии, и в Африке. Есть даже Академия языка эсперанто.

В современном мире существуют понятия Запад и Восток. Они не столько географичны, сколько историчны, и связаны главным образом с культурой. Своеобразное деление на “запад” и “восток” обнаруживается и в применении алфавитов. Запад пользуется латиницей, Восток – кириллицей. К востоку от кириллицы идет область, использующая арабскую графику. Юго-Восточная Азия пользуется главным образом иероглификой.

Латиницей пользовались древние римляне. В несколько измененном виде она обслуживает Западную Европу и Америку до наших дней.

Кириллицей пользуются в некоторых странах Восточной Европы и бывшем СССР.

Существование у соседнего народа другого алфавита в обыденной жизни никого не беспокоит. Неудобства от этого возникают в некоторых исключительных случаях, когда в центр внимания попадает сразу несколько языков. Всерьез с этой проблемой столкнулись католические миссионеры в странах Африки и Азии. Они переводили Библию на язык той страны, в которой проповедовали, и нуждались в соответствующих словарях. Им принадлежат первые словари языков далеких стран. Естественно, что записывали они чужие слова с помощью своего латинского письма, вводя в него дополнительные значки для специфических звуков каждого языка. Такую запись они называли транслитерацией. Позже она получила название латинизация, или романизация (латинский язык относится к романской языковой семье).

Следующий шаг на пути унификации иноязычных написаний был сделан при каталогизации книг прусских библиотек. Книги были со всего мира. Расстановка их в едином алфавите потребовала записи их названий и фамилий авторов с помощью единой орфографической системы. С этой целью были составлены специальные инструкции (от 10 мая 1899 г.; вторая публикация 10 августа 1908 г.). Эти инструкции были приняты за основу при создании стандарта по транслитерации Международной организацией стандартов (ISO).

В результате всей этой деятельности на Западе давно существуют унифицированные системы записи слов для языков Азии и Африки, нередко весьма далекие от их истинного произношения на местах. Например, название денежной единицы Бирмы, известное в ряде стран как *кьят*, сами бирманцы произносят *джа*. С помощью этой системы были записаны географические названия разных стран. Однако нашим специалистам пришлось многое переделывать. Если ориентироваться на западную систему записи, местное население на слух этих названий не воспринимает.

Таким образом, расхождение написания и произношения оказывается неизбежным, и приходится выбирать, чему отдать предпочтение: следовать ли местному произношению и получить расхождение с написанием названий тех же объектов в англо-американской системе или следовать последней и иметь расхождения с произношением тех же названий на местах.

Отметим, однако, такую историческую закономерность: для Запада всегда важнее было, как писать, а для Востока – как произнести. Москва для Запада – восток, а для Азии – запад. В Москве встретились обе традиции, откуда – стремление получить удачную запись при сохранении более или менее правильного произношения.

Для латинопишущей Европы, где на относительно небольшой территории находится много стран со своими официальными государственными языками, важно иметь единое латинское написание какого-нибудь имени (фамилии, географического названия). В каждой стране его прочтут по-своему. Например, английскую фамилию *Байрон* (*Byron*) французы читают *Бирон*. Пока международным языком в Европе был латинский, это было удобно. Больше того, некоторым словам и именам специально придавали латинообразную форму, чтобы удобнее их вводить в латинский язык, например, *Рене Декарт* стал *Renatus Cartesius*.

В России издавна сложились два типа передачи иноязычных имен: **п р а к т и ч е с к а я т р а н с к р и п ц и я**, которой мы пользуемся в общей печати (газеты, журналы), на географических картах. Иноязычные имена мы переписываем русскими буквами, стараясь максимально приблизиться к иноязычному произношению и по возможности показать особенности орфографии языка-источника, откуда *Шмит*, *Шмидт*, *Шмитт* или *Ман* с одним или двумя *n* на конце. При этом в русский алфавит не вводятся никакие дополнительные написания.

Второй способ передачи – транслитерация, при которой основное внимание уделяется написанию, возможно введение в алфавит дополнительных значков, а произношение отступает на второй план. Именно транслитерация дала старую русскую форму *Невтон* для английской фамилии *Ньютон* (*Newton*). Но эта традиционная форма возникла в те времена, когда международным языком ученых была латынь. Ньютон писал свои труды по-латински. На латыни М.В. Ломоносов беседовал со своими учеными коллегами.

При передаче русских имен средствами иноязычной графики мы часто обращаемся к транслитерации: *Кашин* (*Kašin*), *Чугунов* (*Čugunov*). Эта система транслитерации составлена на основе славянской латиницы, той самой, которой чехи стали писать, обратившись к католицизму. Наша система разработана А.А. Реформатским. С помощью этой системы в Москве был издан Атлас мира на латинской графике. Система нашла одобрение у ученых Запада. Они называли ее второй русской орфографией.

Существуют другие системы транслитерации, например, принятая Международной организацией стандартов – ISO. Для изображения русских букв они прибегают к ряду условных написаний, например, *ю* передают как *u* с “шапочкой” наверху *ÿ*, *э* – как *e* с точкой *ě* или со знаком ударения наверху *è*. Чтение этих знаков никого не интересует.

По-видимому, для документальных записей транслитерация не вполне подходит, поскольку в паспортах применяется практическая транскрипция на основе французского или английского языков. В библиотеках, наоборот, предпочитается транслитерация, поскольку она дает однозначные соответствия и обеспечивает точность.

Если вы пересекаете на поезде границу Италии, вас просят занять свое место в купе. Предельно вежливый, но чрезвычайно строгий пограничник, листая ваш паспорт, передает по переговорному устройству: *Сорренто, Урбино, Пьемонт, Рома, Анкона...* Вы сначала недоумеваете, при чем здесь география. Потом догадываетесь: он передает по буквам вашу фамилию для внесения ее в компьютер. Мы в подобных случаях используем имена: *Семён, Ульяна, Пётр, Роман, Александр...*

Если у вас более или менее простая фамилия – *Иванов, Петров, Сидоров*, она и по французским, и по английским правилам останется без изменений: *Ivanov, Petrov, Sidorov*. Но если вы *Ушаков, Жуков, Кошкин, Чижиков, Шишкин*, ваша фамилия изменится до неузнаваемости: по-французски – *Ouchakov, Joukov, Kochkine, Tchijikov, Chichkin*; по-английски – *Ushakov, Zhukov, Koshkin, Chizhikov, Shishkin*.

Если вы приехали в другую страну единожды, как написана ваша фамилия, не имеет существенного значения. Но если вы неоднократно приезжали по старому, а потом по новому паспорту, то ваша фамилия попадет в компьютер дважды, в разном написании. Если вам заказали гостиницу, ориентируясь на прежнее написание фамилии, а вы приходите с новым паспортом, вас могут не пустить. Еще хуже, если у вас имеется вклад в каком-нибудь банке или гонорар в каком-нибудь издательстве. Примеры можно умножить.

Даже если сообщение о новых правилах написания русских фамилий будет разослано в соответствующие органы разных стран, идентификация вашей личности не всегда может быть осуществлена, ведь для Запада важно, как писать...

Так под какой же удар ставят наши современные органы, выдающие заграничные паспорта, своих соотечественников, переводя их фамилии на новую орфографию! Как смогут они доказать немецкому или шведскому таможеннику, что *Shchukin* и *Chtchukine* (*Шукин*) – одно и то же. Ведь для такой страны, как Финляндия или Швеция, написание, казалось бы, одного имени с одной или двумя одинаковыми буквами – разные имена: *Aagne* и *Ame*, *Emilia* и *Emiilia*. Кому и для чего нужно создавать такую ломку с именами и фамилиями граждан России?

Не лучше ли было бы при обмене иностранного паспорта не трогать прежней орфографии и писать по-новому (по правилам английского языка) лишь фамилии тех, кто впервые едет за границу, разумеется, если таково требование времени? Не следует забывать однако, что далеко не все люди едут в страны английского языка и что русское произношение фамилии, которое мы так стараемся сохранить, “усовершенствуя” написание ее, никого из пограничных служб не интересует.

В XVIII веке французский стал международным языком дипломатов, заменив язык новолатинский, который еще некоторое время сохранялся в научных трактатах. Расцвет французской литературы, куль-

туры заставил обратиться к нему общественность многих стран. Академия наук во Франции была создана специально для развития и охраны французского языка. Имена всемирно известных людей стали произносить так, как бы они были французскими: *Кромвель, Вашингтон, Кардиган, Веллингтон*. Французское просвещение, литература, идеи преобразования общества снискали поклонников во многих странах. Даже наполеоновские войны, нанесшие ущерб ряду государств, не снизили общественного интереса к французскому языку и культуре. И в XX веке французский язык признается как один из международных.

Но времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. В XX веке на первое место по международной значимости выходит английский язык. Смена традиций и культурных ориентаций всегда сопровождается серьезными языковыми изменениями. Так и теперь: французская ориентация в дипломатии сменилась англо-американской, и это в первую очередь отражается на собственных именах. Если международным языком дипломатов стал английский, то и имена предпочитают писать по нормам английского языка, даже если для Запада важнее написание, чем произношение. Впрочем, в прошлом веке в английский текст спокойно включали имя во французской орфографии. Например, П.И. Чайковский ездил в Америку, где дирижировал исполнением своих произведений. Французская орфография *Tchaikovsky* сделалась традиционной для англичан, хотя для показа звука *ч* им было достаточно сочетания *ch*.

Каждый язык, осваивая иноязычные слова и собственные имена, “подгоняет” их под свои нормы. Так, французы превращают имя *Юлия Цезаря* в *Жюль Сезар*, англичане – в *Джулиус Сизар*.

Заменяя в паспортах французскую орфографию на английскую, люди мало думают о том, как будет произноситься имя или фамилия. Так человек меняет свою фамилию, фактически не меняя ее, то есть ее русская форма остается прежней. Но иностранное произношение может измениться, особенно в так называемых открытых слогах. Фамилию *Буров* англичане прочтут *Бюров, Лапин – Лейпин*. Французская орфография в известной мере обеспечивала более стабильное произношение. Само сознание, что она не английская, предупреждало англичан от произношения на английский манер. Отмена этого положения приведет к ассимиляции русских имен и фамилий английским языком. Я, например, буду *Сьюбранскяя*.

## Топонимика

ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ\*

Г.П. СМОЛИЦКАЯ,  
доктор филологических наук

**Унеча** (1940). Город в Брянской области. Название дано по реке Унеча, на которой в 1672 году было основано селение. Предположительно видеть в этом названии праславянскую форму \*unetja, известную в древнерусском корне *унь-* “юный” (Топоров, Трубачев. Лингвистический анализ топонимов Верхнего Поднепровья). *Юный* по отношению к водному источнику может значить “молодой, новый, недавно возникший”, возможно, в результате изменения русла принимающей реки или других обстоятельств. Противоположны гидронимы с корнем *стар-* (р. *Старица*, оз. *Староречье* и т.п.) как остатки, свидетельствующие о прежнем, старом русле реки.

унечцы, унечец  
унечский, -ая, -ое

**Унжа**. Названия нескольких рек в бассейне верхней Волги и нижнего течения Оки, а также Унжа в Томской области и Унжица в бассейне Северной Двины. Происхождение гидронима не выяснено. В.А. Никонов, ссылаясь на Л. Трубе, соотносил его с марийским *унжио* “тихая, спокойная”. Он считал, что Унжа в Томской области удачно объяснена Э.Г. Беккер из селькупского *унджъ* “ручей”. Надо заметить, что волжские и окские Унжи действительно имеют тихое и спокойное течение.

унженский, -ая, -ое.

**Упа́**. Река, правый приток Оки. В отношении происхождения названия существует неясность. Большинство исследователей придерживается балтийской интерпретации гидронима. Эти взгляды подробно изложены М. Фасмером с некоторой долей сомнения в их правильности. Гидроним соотносят с балтийским (латыш., литов.) *ире* “река”, “ручей”: *Лиелупе*, *Питерупе* и др. Фасмер считал, что если бы в основе гидронима был этот апеллятив, то на восточнославянской почве он имел бы форму *Вопь* (ср. р. *Вопь* в верхнем Поднепровье). В.А. Никонов устранил этот аргумент, опираясь на гипотезу Н.С. Трубецкого о диалектном развитии *у > в > ѳ > у*, по которому русское *Ван* (*Вопь*) могло иметь форму *Упа* (Никонов. Краткий топонимический словарь). Более убедительно

\* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 1994. №№ 4–6; 1995. №№ 1–6; 1996. №№ 1–6; 1997. №№ 1–6; 1998. №№ 1–6; 1999. №№ 1–6; 2000. №№ 1–3.

об этом писали В.В. Топоров и О.Н. Трубачев, исходя из того, что балтийские формы были усвоены восточными славянами в разное время и в зависимости от этого по-разному. Название *Уна* было заимствовано сравнительно поздно и поэтому сохранило в русском языке свой “балтийский облик”, а такое, как *Воль* – раннее заимствование, подвергшееся фонетическому изменению по законам русского языка (Топоров, Трубачев. Указ. соч.). Апеллятив *иреларе* находят в таких гидронимах, как *Ужена* (басс. Днепра), *Родопа* – в Болгарии; *Жукона* – в бассейне Днепра и др. Апеллятив *ире* в русском языке приобрел типично русский словообразовательный облик, что отразилось в производных гидронимах – притоках Упы: реки *Упка*, *Упица*, *Уперта* (*Упёрт*, *Уперть*); овраг *Упской*, деревня *Прудовая*, *Упертовка тож*; река *Полевой Упёрт* (Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки). Последний гидроним косвенно подтверждает его происхождение от географического термина.

упинский, -ая, -ое и ўпский, -ая, -ое

**Урга́.** Село в Нижегородской области на реке Урга, которая дала имя селению. В основе гидронима марийское слово *ур* “белка” *га* из *йогы* “река, течение”. *Урга* – Беличья река.

ургинцы, ургинец

ургинский, -ая, -ое

**Урень.** Поселок и железнодорожная станция в Нижегородской области. В основе названия марийское *морэн* “заяц”. *Урень* – селение в местности, где много зайцев. По сведениям исследователей нижегородской топонимии, здесь действительно водятся зайцы, так как много лесосек, осинников, ивовых зарослей в поймах местных речек (Морохин. Нижегородский топонимический словарь).

Существуют и другие версии. Топоним связан со словом *урень*, имеющим в Среднем Поволжье значение “простокваша” из чувашского или татарского *айрак* “сыворотка”, которое могло быть когда-то прозвищем жителей Урени (Фасмер. Этимологический словарь русского языка). *Ур* в этих языках может выступать как личное имя человека, а *енг* имеет значение “человек” (Морохин. Нижегородский топонимический словарь).

урёнцы, урёнец

урёнский, -ая, -ое и урёнский, -ая, -ое.

**Уришка.** Русское село в республике Мордовия на речке Урька. Известно с XVII века, основано служилыми людьми на Атемарской засечной черте (Инжеватов. Топонимический словарь Мордовской АССР). Несомненно, оба названия образованы от слова *ур* “белка” в языках поволжских финнов. Такая форма свидетельствует об их вхождении в словообразовательную систему русского языка. В данном регионе нередки дорусские топонимы аналогичной формы: *Вормишка*, *Икишка*, *Б. Пячка* и др. (Смолицкая. Обратный словарь гидронимов бассейна Оки).

уришкәне, уришкәнец и уришәне, уришәнец

уришкәнский, -ая, -ое и уришәнский, -ая, -ое

**Урйв.** Село в Воронежской области на правом берегу Дона. Основа-

но в 1648 году как укрепление на Белгородской оборонительной черте. В основе названия диалектное слово *урыв* “высокий речной обрыв крутого склона, подмываемый водой” (Мильков. Типология урочищ и местные географические термины Черноземного центра).

урывцы, урывец и уривчәне, уривчанин  
урывский, -ая, -ое

**Усад (Усады).** Сёла и деревни в Центральной России (в Московской, Владимирской, Нижегородской и др. областях). В основе названия апеллятив *усад*, известный в русских диалектах в значении “место, отведенное для нового поселения; участок земли с домом, садом; отдельное небольшое поселение”. Ср. также Усадище, Новый Усад, Дивеев Усад и т.п.

усадовцы, усадовец  
усадовский, -ая, -ое

**Усмань (1646).** Город в Липецкой области. Название дано по реке Усмань, на которой он основан. Существует несколько предположений о происхождении гидронима, вызванных преимущественно трудностями освоения иноязычного названия русским языком, вплоть до легенды о татарской красавице по имени Усмань. Наиболее вероятным можно считать соотнесение этого названия с иранским *asman* “камень”. В.Н. Топоров и О.Н. Трубачев соотносят с ним и гидронимы *Асмонь*, *Осмонь* в бассейне Свапы; *Асмонька*, *Осмонька*, *Каменная Осмонька*, опираясь на предположение М. Фасмера, и особенно на последнее название, представляющее собой иранское слово и его русский перевод (Топоров, Трубачев. Указ. соч.). Форма *Усмань* в условиях южновеликорусского акающего наречия вполне могла развиваться из *Асмань* в *Османь* (ср. *огурцы* > *агурцы* и *угурцы*). Конечное *-ан* подравнялось под *-ань*, довольно частый гидронимический суффикс на центральной русской территории: *Прорвань*, *Радовань*, *Сухань*, *Тулубань* и др. (басс. Оки).

усманцы, усманец  
усманский, -ая, -ое

**Успенское, Успенье.** Сёла, рабочие и курортные поселки на всей территории Центральной России. Названия давались по храмам в память об успении Пресвятой Богородицы, возведенным в этих селениях. Иногда такие названия содержат добавления, уточняющие местонахождение селения: *Успенская Хава* (на речке Хава) по типу *Спасск-Дальний*, *Спасск-Рязанский* и т.п.

успенцы, успенец; успеньевцы, успеньевец  
успенский, -ая, -ое; успеньевский, -ая, -ое

**Устинское (Большое Устинское).** Село в Нижегородской области. Название дано по имени первопоселенца: *Устина*.

усти́нцы, усти́нец  
усти́нский, -ая, -ое

*Продолжение следует*



## Народная поэзия о гибели императора Александра Второго

*С.Н. АЗБЕЛЕВ,  
доктор филологических наук*

В июле 1900 года Михаил Нестерович Сперанский (впоследствии – академик, знаменитый славист, в 30-е годы репрессированный) записывал духовные стихи в Рыльском уезде Курской губернии<sup>1</sup>. Слепец Григорий Артамонов спел ему двенадцать традиционных произведений и среди них одно нетрадиционное, которое Сперанский в своей публикации озаглавил “Об Александре II” (Сперанский М. Духовные стихи из Курской губернии // Этнографическое обозрение. 1901. № 3. С. 65). Принадлежность этой песни к категории духовных стихов не была для Сперанского бесспорной из-за нетрадиционности содержания. Другие собиратели, зафиксировав её в иных регионах России, по-разному обозначали жанр. Но самая первая, анонимная публикация, извлекая за десять лет до записи Сперанского аналогичный текст из следственного дела, сообщала, что это «один из “стихов”», которые поются сектанта-

<sup>1</sup>Название “духовные стихи”, принадлежащее их исполнителям, закрепилось в науке за разножанровым комплексом простонародных благочестивых песнопений, темы которых в основном брались из Священного писания, Житий святых и близких им по содержанию произведений, часть которых церковь не признавала истинными (это так называемые апокрифы).

ми в Земле войска Донского (Как восплакалась Россия о своём Белом царе // Русская старина. 1890. № 12. С. 689). А цитируемая ниже последняя публикация, осуществлённая в 1916 году крупным фольклористом Николаем Евгеньевичем Ончуковым (впоследствии тоже репрессированным), была им озаглавлена “Стих про Александра II-го” и представляла запись от слепца, который пел для пассажиров 3-го класса на пароходе, шедшем по Каме.

В Воронежской губернии эта песня была записана как “псалом”, который, по словам собирателя, “поют в деревнях на напев протяжный и грустный” (Кетриц Б.Э. “Псалом” об императоре Александре II // Исторический вестник. 1898. № 3. С. 1126). Другие публикаторы определяли зафиксированное ими произведение как песню. В Тамбовской губернии она была записана от нищего старика в Страстной четверг. Под аккомпанемент казачьей лиры исполнили эту песню её публикаторам слепцы на Дону и в Харькове. На Кубани была напечатана сделанная там запись “со слов певца-торбаниста, старого служивого” (Песня про государя Александра-Второго-царя. Записано {...} А.С. Поповым // Кубанский сборник. Екатеринодар, 1899. Т. 5. С. 1). От казаков песню записали и известные издатели фольклора Астраханского и Оренбургского казачьих войск А.А. Догадин и А.И. Мякутин. Всего мне известно десять записей, опубликованных на протяжении двадцати семи лет: с 1890-го года по 1916-й. И все они сделаны за сравнительно короткое время, и их география свидетельствует о широком и быстром распространении песни, что, по-видимому, определялось исключительно её содержанием.

Произведение осталось неисследованным, но некоторые соображения всё же были высказаны. Один из первых публикаторов писал: “Перед нами лиро-эпическая песня, правда, слабая в художественном отношении, но касающаяся такого факта, который, несомненно, произвёл сильное впечатление на народ; и личность царя-освободителя, и трагическая его смерть должны были сохраниться в народной памяти”. Отметив, что обстоятельства возникновения песни неизвестны, публикатор признал знаменательным, что “произведение пошло в народ и под звуки лиры слушается в разных местах; он полагал, что если песня “привьётся”, то для неё может наступить “тот таинственный процесс художественной обработки, который совершался в наших древних песнях и который даёт право авторства всему народу”. Пока же песня мало связана “с обычными народно-поэтическими приёмами”, а “что касается формы, то особенностью её является рифма, только изредка случайно встречающаяся в старинной песне, но обычная в песнях новейшего склада, что, конечно, следует отнести на счёт ознакомления народа с литературным стихом” (Кульман Н. Песня на кончину императора Александра II (записанная в области войска Донского) // Русская старина. 1900. № 6. С. 653–654).

Содержание песни таково, что после 1917 года “процесс художественной обработки” её должен был оборваться. В зафиксированном своём виде это произведение имеет объём от 48 до 89 стихов. Записанные варианты, различаясь в сущности только степенью полноты, передают одну версию, которая относится по преимуществу к жанру хроникальных исторических песен. Немногочисленные фиксации подобных песен осуществлялись в России с начала XVII века. Песня о гибели императора выделяется среди них присутствием порой значительной эмоциональной окраски. Приведём с сокращениями начало этой песни и изложение центрального её эпизода по записи Ончукова:

Вы послушайте, друзья,  
Всё про Белого царя.  
Милостивый государь  
Александра Второй царь,  
Он с любовью служил,  
Всем свободы дать хотел.  
.....  
Исправлял он все законы,  
Слышал бедных людей стоны.  
Стали злодеи судить,  
Как бы царя истребить.  
Отчаянных подкупили.  
Дали в руке им гранаты,  
Они от Бога прокляты.  
.....  
Марта первого числа  
Жизнь скончалася царя.  
Страшно думать и гадать,  
На царя руке поднять!  
.....  
Между народною толпой  
Не видеть было, отколь  
Появился большой взрыв  
И государя поразив.  
Тогда сделалось смятенье,  
По всей сырой земле потрясенье,  
И велика страсть была,  
Как царскáя кровь лила.

Далее подробно говорится о том, как государь был доставлен во дворец и народ ожидал известий, предчувствуя трагический исход. Упомянуто о гуманности Александра II и об освобождении крестьян:

Ты за то жизнь положил,  
Что добра много творил,  
Все законы отменил  
И крестьян освободил.

Песня завершается выражением народной скорби и надежды на царского сына:

Будем Господа просить,  
Чтоб царя Бог умудрил:  
Сын по мудрости отца  
Доведёт дело до конца.

(Ончуков Н. Смерть Александра II-го // Живая старина. 1916. Вып. 4. С. 327–328).

Заключительные строки были, очевидно, продиктованы широко известным высказыванием Александра III от 2 марта 1881 года: “Я принимаю венец с решимостью. Буду пытаться следовать отцу моему и закончить дело, начатое им”.

Этот мотив получил развитие в духовном стихе, зафиксированном на Нижнем Поволжье (на него любезно указал мне А.А. Панченко). Пространный текст, насчитывающий 113 строк, основанием своим имел цитированную только что песню: первая треть стиха является её переложением. Далее идёт как бы пересказ предсмертного монолога Александра II:

Он во царским дворце  
Сказал слово при конце

– после того, как “пред лицом его явились” по его требованию “Синод и весь царский белый род” и даже остановившие свою деятельность “все земны суды”; умирающий государь

Александра благословил –  
“Вот тебе скипетр и венец  
И весь царский мой дворец,  
Моя шпага и корона,  
И прискорбная дорога;  
Ещё лента голубая  
И печать моя золотая.  
Изволь правдой управлять,  
Моих верных прославлять.

В ряду отцовских наставлений акцентировано требование справедливо-го суда над террористами:

А злодеев моих купно  
Изволь лично призывать;  
По закону их осудишь,  
В славе Божией пребудешь.

Сам же Александр II выполнил своё земное предназначение:

Оставляю своё тело,  
Иду к Отцу Богу смело.  
Возрадуются небеса,  
Прославятся телеса,  
Буду в небе ликовать,  
Вечно с Богом толковать.

В предсмертном обращении к Всевышнему император просит его убедить подданных от происков революционных смутьянов и террористов:

Господь, тело прибери,  
Моих верных сохрани,  
Ты устрой их, упокой,  
От злодеев всех покрой”.

(Солосин И.И. Стихи ахтубинских сектантов // Живая старина. 1912. Вып. 1. С. 156–159).

Попытки революционеров убить Александра II начались за пятнадцать лет до его гибели, явившейся результатом уже седьмого покушения. Первое из них тоже получило отображение в песне – небольшой по объёму, но передававшей свершившийся факт довольно точно:

В шестьдесят шестом году  
Бог пронёс мимо беду.  
Каракозов ровно крот  
Пробирался сквозь народ.  
Царь из сада выходил,  
Злодей выстрел объявил.  
Комиссаров подлетел  
И спасти царя успел.  
Туча чёрная прошла:  
Царя пуля обнесла.

Этот типичный пример простонародной песни-хроники был снабжён примечанием собирателя, который в данном случае явился и публикатором: “Воспеваётся случай спасения жизни императора во время покушения 4 апреля 1866 года у Летнего сада в С.-Петербурге. Крестьянин Осип Ив. Комиссаров толкнул под руку дворянина Каракозова в тот момент, когда последний стрелял в императора” (Былины и песни астраханских казаков / Собрал и на ноты положил А.А. Догадин. Астрахань, 1911. Вып. 2. № 22).

Зафиксированная только этим собирателем песня тоже не получила художественной обработки, будучи вытесненной из народного репертуара откликами на цареубийство 1 марта 1881 года. Трагическое событие вызвало появление ещё нескольких различных по жанру произведений. Особенно интересна песня, в которой хроникальная основа обработана традиционными для фольклора изобразительными средствами в манере, действительно напоминающей духовные стихи. Её текст был записан в Костромском уезде от 65-летнего крестьянина Дмитрия Степановича Ваулина под названием “Плачевная песнь о смерти царя-освободителя”. Вот отрывки из нее (в полном виде произведение содержит 83 стиха):

Собиралася туча страшная  
 Вранов черных, кровожадных  
 .....  
 На убийство зло ясна сокола,  
 Легкокрылого, быстроокого.

Далее следует диалог будущих убийц с прежними заговорщиками, взорвавшими из подвала зал Зимнего дворца, где императора в тот момент, вопреки их ожиданиям, не оказалось, и осуществившим другие неудавшиеся покушения.

Мы попробовав попыталися,  
 На жизнь сокола покушалися,  
 Ни один разок, а уж несколько,  
 Под его гнездо подкопалися,  
 Да и взорвали тепло гнёздышко.  
 А не пришлось убить ясна сокола,  
 Ясна сокола, орла паряща,  
 И со орлицею, со царицею,  
 Со младым птенцам златокрылым.  
 И дела наши в прах распалися.  
 .....  
 Ни летят в него пули меткие,  
 У врагов его руки трясутся;  
 Лишь с ним встретятся – напугаются,  
 В метких выстрелах ошибаются.  
 Комисаров был – тот вступается;  
 Пуля в воздухе возвивается.

Затем песня излагает замысел нового покушения:

Мы придумаем смерть неслыханну,  
 Человекам недомысленну:  
 Уготовим бомбы страшные,  
 С огнем лютым, громом трясущим,  
 Потрясающим мать сыру землю.

.....  
 Лишь с великим повстречаемся,  
 Мы подбросим их к его ноженькам  
 И ударим ей об сыру землю.  
 Разорвёт бомбу пламя адское.

.....  
 Опалит ему сизы пёрышки,  
 Подшибёт ему резвы ноженьки,  
 Оборвёт и плоть, как мучитель злой.

.....  
 Костромских крестьян уж не будет там  
 Комисарова и Сусанина,  
 Защищать особ державных:  
 Улеглись в лоне матери.  
 Как придумали, так и сделали.

Финальные стихи песни, торжественная тональность которых побудила перейти на другой размер, имеют и более чётко обозначенную рифму, но возвращаются затем к прежнему размеру:

Как корабль с жемчугом злотым море поглотило,  
 Как облаки закрыли дневное светило,  
 Как вихри погасили яркое паникадило,  
 Жизнь царя и защитителя,  
 Всех крестьян освободителя,  
 Царя белого, правосудного –  
 Александра Второго, благого и премудрого!

(Селифонтов Н. Две народные песни об императоре Александре II // Русская старина. 1900. № 11. С. 364–365).

В песне подчёркивается, что Иван Сусанин и Осип Комиссаров, спасавшие царя Михаила Фёдоровича и императора Александра II, – костромичи. Кстати, именно в Костромском уезде были записаны и ещё две песни на этот же сюжет.

Совсем иного типа “Песня на память Александру II”, записанная у терских казаков, из которых составлялся, начиная с 1832 года, собственный конвой императора. Возникшая, очевидно, в их среде, она является собой один из примеров “поздней песни”, обязанной “воздействием

литературного стихосложения”, которое “сказалось на таких элементах её поэтической техники, как строфика и рифма” (Исторические песни XIX века. Л., 1973. С. 25). В песне ощущаются отзвуки поэтики так называемых “жестоких романсов”:

Погиб он в пучине житейской,  
 Страдая за счастье людей.  
 Рукой пораженный злодейской,  
 Пал жертвою пошлых людей.

По жанру это скорее не хроникальная песня, а историческая баллада, удержавшая однако и некоторые элементы хроникальности. Вот её окончание:

Царь русский, убитый в России,  
 Принял терновый венец.  
 Конвойцы несутся рядами;  
 Толпы окружают дворец.  
 Живого сберечь не умели,  
 Теперь же на помощь бегут;  
 Живому помочь не успели,  
 Так мёртвого хоть сберегли.  
 Царь русский, убитый в России  
 Рукою же русских людей,  
 Лежит он, страдалец, облитый  
 Священною кровью своей.  
 За что же наш царь православный,  
 За что же он так пострадал?  
 За то ли, что славу отечеству дал?

(Гусев А. Поверья, праздники, песни и сказки в станице Ардонской, Терской области // Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа. Тифлис, 1893. Вып. 16. Отдел I. С. 346).

Устное творчество народа отзывалось на гибель царя-освободителя не только песнями, но и полупрозаическими сказаниями. Любопытный текст, записанный собирателем на пути из Москвы во Владимир, был озаглавлен исполнителем – жителем села Зуево Владимирской губернии – “Воспоминание русского народа, простого люда, о царе-избавителе, Александре Втором, ныне в Бозе почившем”. Собственно о гибели государя речь не ведётся, но обстоятельно перечислены – в простонародном восприятии – деяния императора и упомянуты неудавшиеся покушения на него революционных террористов. Приведём в отрывках этот текст, состоящий из 60 строк:

В настоящее время-век  
 Являлся нам свыше Богом данный человек,  
 Который много в мире русском добра сотворил  
 И во многих предметах зло-невежество сократил.  
 .....  
 Рабство истребил,  
 Питейный откуп отстранил,  
 Судебную реформу учредил,  
 Своей державе двоекратный и тоекратный заём разрешил  
 И тем всю Россию поощрил.  
 Мысленно-телеграфически сношения повсеместно  
 восстановил,  
 Рельсовые паровозные пути во многих местах открыл,  
 Преступникам телесное увечное наказание отменил.  
 .....  
 Общую военную повинность, равенство сотворил,  
 И тем в народе ропот утолил, –  
 Точно ему ангел с небес на всё благовестил!  
 А во время турецкой войны,  
 На военном действии семь месяцев пребыл,  
 Дело святое исполнял, гнев Господень утолял,  
 Веру-отечество защищал и всю Расею собой охранял.

Подробно сообщив о том, как турецкий снаряд, разорвавшийся у ног царского коня, не причинил вреда императору, повествование переходит к госпиталям, о которых заботился государь –

И больничные места посещал,  
 Больных ласким словом утешал.  
 А по окончании войны, в немедленном времени  
 Столицу Москву свою посетил.  
 Военных, действующих и служащих  
 Роскошным обедом ублагодарил,  
 И за военный поход их благодарил,  
 И за победу Богу хвалу превозносил.

Сообщив ещё и о царской благодарности гражданским жертвователям на освободительную войну, сказание в конце переходит к безуспешности покушений “зломысленных врагов-злодеев” –

И Вышняя десница  
 От шести действий злодеев его защищала,  
 Живот царский сохраняла (то есть жизнь)  
 И чудо велико сотворяла

И тем же часом всю Расею повещала,  
Точно как молния освещала,  
И по всей Расеи сильный гром разражался,  
И каждый православный христианин не раз перекрещался  
И кричал: ура! ура!!

Собиратель передал и реакцию толпы, собравшейся на железнодорожной станции, где производилась запись:

“– Урра! Урр-а!! – с энтузиазмом подхватили слушатели.

– Богу, царю – хвала! – громко, с увлечением закончил старик (...)

– Хвала! – снова подхватила толпа... – Хвала!!” (Пругавин А. Vox populi: Из записной книжки этнографа // Северный вестник. 1885. № 1. Отд. I. С. 115–117).

Возгласы эти, по-видимому, предназначались не погибшему Александру Второму, а царствовавшему уже в то время Александру Третьему. На нынешнего царя переходил отблеск народного отношения к его отцу.

Завершая разговор об устно-поэтических откликах на смерть Александра Второго, необходимо напомнить, что в русском фольклоре более трёхсот лет существовала традиция оплакивать умершего монарха. Давно устоялась и форма посвящённых этому исторических песен. Они исполнялись как монолог часового, стоящего у гроба и сетующего на неурядицы в армии, вызванные смертью государя: часовой оплакивает его от имени своих соратников и сослуживцев. Современный историк, изучивший более сорока опубликованных записей этих песен, которые посвящены царям и императорам XVI–XIX веков, заключил, что, возникнув в 1505 году по случаю смерти Ивана Третьего, песня впоследствии “подвергалась неоднократным переделкам, вызванным попытками её актуализации” (Амелькин А.О. О ком плачет часовой? // Живая старина. 1996. № 2. С. 30).

Совершенно иначе устная поэзия отозвалась на смерть Александра Второго. Радикальные отличия от сходных по теме песен предшествовавших обусловлены исключительностью самого факта: император был убит публично своими подданными, выступавшими якобы от лица народа, который он же облагодетельствовал. Хроникальные народные песни передавали эмоционально окрашенные живые впечатления очевидцев и получили широкое распространение, послужив основой дальнейшего песнетворчества. Этическая оценка убийства царя-освободителя сближала такие песни с духовными стихами. Произведения создавались в разных жанровых формах, но центральным мотивом всюду являлась оценка содеянного террористами с позиций православного отношения к царевубийству.

## Галиматья

О.Ю. СТАРОДУБОВА

“Даже те слова, на которых во время активного употребления их в русском языке сохраняется отпечаток заимствования, проходят через разные ступени или степени русификации. Они двигаются из одного социально-группового стиля речи в другой или из одного диалекта в другой, меняют свою экспрессию и – при наличии подходящих семантических условий – приобретают даже оттенок вульгарности. Общеизвестно, что слова бранные, ругательные и вообще выражающие отрицательную оценку или презрительную квалификацию, заимствуются особенно часто ..., пополняя синонимические ряды русского языка” (Виноградов В.В. История слов. М., 1994). Данное высказывание В.В. Виноградова, представляющее собой общее соображение о социолингвистической судьбе заимствованных слов в разных стилях и сословных разновидностях русского языка в ходе исторического развития последнего, в известной мере, относится и к истории слова *галиматья*.

Это слово достаточно широко распространено в современном языке, и по вопросу о генезисе этого, по словам К.Н. Державина, “этимологического курьеза” накопилась некоторая литература. Нет необходимости приводить и комментировать высказывания авторов всех существующих по этому поводу работ, ограничимся лишь перечислением основных версий происхождения слова, тем более, что почти все источники, фиксирующие *галиматью*, так или иначе, ссылаются друг на друга.

Один из первых лексикографических источников, включивших слово, – “Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту...” Н.М. Яновского (СПб., 1803–1806. Ч. 1–3), где *галиматья* включается в синонимический ряд “галиматья, вздор, чепуха, пустошь, смесь, бессмысленное многоречие, слова надутые и ничего не значащие, из коих нельзя образовать никакого понятия”. Кроме указанного “Словотолкователя...”, находим *галиматью* в параллельных словарях и лексиконах конца XVIII – начала XIX веков: Татищев И.И. “Полный французско-русский словарь” (СПб., 1824. Ч. 1–20); Волчков С.С. “Французской подробный лексикон...” (СПб., 1779); “Французско-русский этимологический словарь, содержащий в постепенном порядке все слова французского языка, разобранные и группированные по корням”. Сос-

тавил П. Таккелля (СПб., 1894); “Русско-французский словарь, в котором русские слова расположены по происхождению, или этимологический лексикон русского языка, составленный Филиппом Рейфом” (СПб., 1835) и др. Последний из указанных авторов дает эквивалентный перевод французского *galimatias* русским *галиматья*. А полный Русско-французский словарь, составленный И.И. Татищевым, определяет слово, фиксируя его в следующем синонимическом ряду: “Galimatias s.m., вздор чепуха, пустошь, вранье, бессмыслица, билиберда, враки, пустословие, нелепица... Un rompreux galimatias, велеречивый вздор, надменная чепуха, пышное пустословие”.

“Словарь русского языка XVIII века” (Л., 1989. Вып. 5) отражает время вхождения *галиматьи* в русский язык: «Галиматья (-ия) 1769, и, ж. Н-лат. gallimathia, что и подтверждает примерами функционирования слова в худ. текстах этого времени: “Нклв. тв. III. 376 я уверен, что многое, казавшееся ему (поэту) прекрасным в утреннем восторге сочинения, покажется ему тогда галиматъею. М.Ж. VI 71. Многие из них (романов) наполнены сряду и сплошь такую глупую и вздорную галиматъей, что надобно иметь чрезвычайное терпение, если хотеть прочитывать все сряду” Блтв. Л.Н. 200. – Ср. вранье, вздор».

Одна из первых этимологических гипотез была высказана В.И. Далем (Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1980. Т. I): “**Галиматъя** ж. фрн. безтолковщина, чепуха, вздор, безсвязица, бессмыслица, нисенитница. **Галиматейный**, вздорный, пустой. **Галиматейщик** м. – **-щица** ж. пустослов, вздорный болтун, говорящий бессмыслицу. *Эку галиматью занес!*”.

Примечательно то, что Даль указал производные слова, свидетельствующие о широком хождении *галиматьи* в повседневном употреблении, живом семантическом чутье внутренней формы слова и его грамматического употребления.

Французскую этимологию В.И. Даля поддерживает “Словарь русского языка XVIII века”, уточняя: лат. gallimathia, через фр. galimatias”.

Займствованием из французского *галиматью* считает и А.Г. Преображенский: “**галиматъя** книжн. бессмыслица, чепуха, вздор. – Нов. займствов. из фр. galimatias” (Этимологический словарь русского языка. М., 1959. Т. I). М. Фасмер делает такой же вывод, но с некоторой долей сомнения «чушь, бессмыслица, вздор. Возм., из франц. *galimatias* “неразбериха” (парижский студенческий жаргон)» (Этимологический словарь русского языка. М., 1964. Т. I).

Тот же статус приписывает *галиматье* и П.Я. Черных: “слово в целом сторонники этого объяснения... склонны считать жаргонным словечком, порождением студенческого аргю 2-й половины XVI в.” (Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1994. Т. I).

И логически замыкает эту цепь рассуждений высказывание

Н.М. Шанского о происхождении уже французского *galimatias* "... ок. 1580 г. введено Монтенем в литературный язык в значении Jargondes *galimatias* – непонятный жаргон из студенческого аргю, в котором таким образом именовались речи – состязания на ученых диспутах, уподоблявшихся петушину бою..." (Этимологический словарь русского языка. М., 1972. Т. I).

Приведенные материалы позволяют высказать некоторые предварительные сообщения общего характера, которые, на наш взгляд, не лишены актуальности.

Международное *galimatias* (ср.: франц. *galimatias*, нем. *galimathias*, исп. *galimatías*), нашедшее свое место и в русском словоупотреблении в значении "бестолковщина, чепуха, вздор... (Даль), принадлежит к числу этимологически неуясненных и весьма спорных слов" (Державин К.Н. Этимологические заметки // Романо-германская филология. Сб. статей в честь академика В.Ф. Шишмарева. Л., 1957). В Академическом словаре 1895 года по поводу этого слова отмечено: "происхождение сомнительно". Это подтверждается и существованием нескольких анекдотических версий происхождения слова.

С. Максимов предлагает желающим на выбор любое (из двух приведенных) толкований, одно из которых связывает слово *галиматья* с именем парижского доктора *Галли Матье*, чудесно исцелявшего своих пациентов смешными рассказами, разными остротами, каламбурами, отсюда производят обычай называть бессвязный и бессмысленный вздор, словесную чепуху именем и фамилией оригинального и счастливого целителя душ и телес (Крылатые слова по толкованию С. Максимова. М., 1955). Впрочем, у народа для пустословов, вздорных болтунов, умеющих городить такую чепуху, от которой вянут уши, имеется слово *алалой* (по звукоподражанию, как уже сказано раньше, от *алалыкать*) и на него иное толкование. "Сближение с *gallus* "петух" и *Matthias* – "Матвей" и анекдот об адвокате, путавшем в своей речи выражения "*gallus Matthiae*" и "*galli Mattias*" – по словам П.Я. Черныха, – вероятно, плод народной этимологии на латинской почве.

По поводу подобных версий "Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии Наук" справедливо замечает, что они нарочито выдуманы для решения загадочного вопроса (СПб., 1895. Т. I). Но сам факт наличия этих анекдотических построений (свидетельствует) доказывает правильность предварительных заключений о "затемненности" этимологии слова. И все же попытаемся несколько "осветить" происхождение *галиматьи*, «...вместо *Matthias* некоторые этимологи предлагают во второй части сложения видеть искусственное образование от греческого корня *mat-* "учусь", "изучаю", "заучиваю" ср. греч. *mate* "обучение", "воспитание", *mathema* "знание", "наука", далее наука, далее наука о величинах, отсюда математика, что же касается *gallus* (в 1-ой части сложения), то этим словом будто бы

обозначили студентов, принимающих участие в обязательных диспутах на ученые темы» (Черных. Указ. соч.).

И вновь перед нами лишь предположение, не более доказательное, чем вышеуказанные, хотя и не лишённые некоторой доли достоверности. Существует гипотеза о заимствовании этого слова из греческого *halimazo*, но по словам Хацидакиса, она недопустима (цит. по М. Фасмеру. Указ. соч.). Необходимо отметить значение “некрасивое, неразборчивое пение” – это толкование принимает как бесспорное современный этимологический словарь французского языка Доза–Дюбуа–Миттерана. Среди иных версий интересующего нас слова существуют попытки объяснения *галиматьи* через ср.-лат. *ballimatia*, через ср.-лат. *garrimantia* и, наконец, при посредстве греч. *chalimazein* “терять рассудок”, которое в форме *chalimazeis* приняло субстантивное значение, “бессмыслица”».

Последнее толкование принадлежит голландскому ученому P.Th. Justensen, доказывающему, что *chalimazeis-galimatias*, воспринятое дружинниками-варягами в Византии, было передано ими на Скандинавский полуостров, откуда проникло в Британию и Нормандию (P.Th. Justensen. *Vonjoewangi*. Java, 1926). Эти сведения мы находим в “Этимологических заметках” К.Н. Державина, помещенных в статью “Романо-германская филология”, где автор следующим образом комментирует изложенное: «Представляется возможным, однако, предложить и другое объяснение *galimatias* “галиматья”, не нуждающееся в столь сложном и сомнительном маршруте”. И тут же делает замечание: “Почвой, на которой могло возникнуть это загадочное слово, скорее всего являлась зубрежка чужого и трудного языка, отличавшегося своей фонетической и морфологической непривычностью для европейского языкового сознания, в частности, романского. Ни латинский, ни греческий языки такой непривычностью не обладали. Ею в полной мере обладает арабский язык, который преподавался уже в XVI веке в испанских, итальянских и французских университетах. Именно там, скорее всего в аудиториях Саламанки и Алькала де Энарес, арабское *‘a’ лима* – “знать, быть сведущим, понимать”, с его производными *а’ллама* ... – “учить, обучать”, *‘a’ ймун* (...) – “знающий, ученый”, и особенно *‘a’ лламанун* (...) “пресведущий, преученый” могло дать испанское *galimatia(s)* с его суффиксом *ia(s)* по типу *greguerías, porquerías, juderías*».

Испанское *galimatias* > французское *galimatias* с его насмешливым смыслом приняло впоследствии более широкое значение «пуганицы, бессмыслицы, вздора, чепухи», каким оно утвердилось и в русском языковом обиходе с утратой осознания его связей с западным европейским студенческим аргом XVI века». Автор этой этимологической реконструкции не дает ее детального обоснования, но исторический факт в известной мере подтверждает данную версию (в то время Алжир был колонией Франции). А столь тесные языковые контакты несомненно

влекут за собой изменения, нововведения с той и другой сторон. Это, как правило, сопровождается различными “неправильностями”, что может привести к искажениям как внешнего облика, так и смысла заимствования.

В нашем случае история слова не прослеживается четко, о чем говорит наличие массы этимологических версий и разночтений (предположений). Детальное обоснование одной из них невозможно из-за отсутствия каких-либо культурно-исторических справок. На данном этапе мы попытались обратить внимание на необходимость предоставления лексической семантике в этимологических исследованиях более высокого статуса. Стоит помнить и о времени введения слова, а также активного его использования во французском языке к XVI–XVII векам – это период интенсивного преподавания, а точнее “зубрежки” греческого и латыни в учебных заведениях. Отсюда вполне определенное отношение учащейся молодежи к указанным языкам и большая доля вероятности “непринужденного” отношения к лексике соответствующих языков, что породило свободное обращение со словом – “языковую игру” – в том числе морфологические построения.

В свете этого позволим себе предложить еще одну этимологическую гипотезу и с этой целью обратимся к словарю греческого языка. Исходя из этого, вполне возможна следующая этимология: сложение двух греческих корней, означающих “напрасный, тщетный, пустой, бессмысленный”, а их повтор в одном слове только усиливает экспрессию – “бессмыслицы” (от бесконечных повторов и зубрежек).

Но это еще не все. Перед нами целое каламбурное построение: недаром французские этимологические словари дают одну из тех анекдотических версий об адвокате и петухе, которые мы находим и у С. Максимова (лат. *gallus* и *mathios*), а также гипотезу о греческих корнях (*mathi* “обучение”, “наука” и *gallus* – “студенты, принимающие участие в научных диспутах”), отмечая, что слово бесспорно является порождением парижского студенческого аргю.

*За знакомой строкой*

**Читая Пушкина: “...там люди, в кучах за оградой...”**

Г.К. ВАЛЕЕВ,  
кандидат филологических наук

В поэме “Цыганы” в ответ на вопрос Земфиры: “Скажи, мой друг: ты не жалеешь / О том, что бросил навсегда?” – мы слышим первый монолог Алеко:

О чем жалеть? Когда б ты знала.  
Когда бы ты воображала  
Неволю душных городов!  
Там люди в кучах, за оградой,  
Не дышат утренней прохладой,  
Ни вешним запахом лугов...

Пушкинское определение горожан даже в устах Алеко необычно и шокирует читателей. Представляется некая куча мала за оградой городов, в которой копошатся люди.

Комментарий составителей авторитетного “Словаря языка Пушкина” только усиливает это тревожное недоумение: к словоформе *в кучах* дана дефиниция “жить, находиться, пребывать скученно” (Словарь языка Пушкина. М., 1957. Т. II).

В монолог Алеко А.С. Пушкин вкладывает кредо своего романтического героя: бунтаря-одиночки, свободолюбца, восставшего против общества, подавляющего человеческую личность. Алеко встал на путь борьбы, он отрицает “неволю”:

...Измен волненье,  
Предрассуждений приговор,  
Толпы безумное гоненье...

и вдруг разговорное слово по отношению к скоплению, множеству людей – *куча*!

В возникновении читательского нонсенса “виновато” развитие русского языка, точнее сложный случай совпадения в произношении мягких вариантов сразу трех праславянских корней: \*kuk-, \*kqt-, \*kust-, в результате чего их значения сближаются, либо омонимически отталкиваются друг от друга, и какое-то из значений уходит в пассивный запас словаря.

Первый корень \*kuk- образует с суффиксом *-jь* общеславянское сло-

во *киѣ*: русское *куча* “что-либо сваленное горкой, грудой”, “толпа, скопление (людей, животных)”, русское диалектное “холм, малая укладка сена, копна”; “стог, зарод, скирда”; “костер”; украинское, белорусское *куча*, по диалектам “сугроб снега, гурьба”; чешское *kiše* “кусок, штука”, “масса”; словенское *kiča* “пучок, вихор”, “кисть”, “сноп”; польское старое диалектное *kusza* “куча, грудa”.

*Кукъ, kuka, kiča* – в русском языке дали многочисленные производные: *кук-а* “кулак”, *кук-иш*, *кук-ан*, *куч-ка*, *о-куч-ивать*, *куч-ерявый* и т.д.

Исследователи обычно связывают корень *кукъ* с литовским *kaiķas* “шишка”, готским *hauhs* “высокий”, немецким *hoch* “высокий” (См.: Этимологический словарь славянских языков: Праславянский фонд / Под ред. чл.-корр. О.Н. Трубачева. М., 1987. Вып. 13).

Другой праславянский корень \**kqtъ*. Как пишет О.Н. Трубачев, «преимущественное и первоначальное значение слова \**kqtъ* – “внутренний или вогнутый угол”», в то время как “внешний, выпуклый угол всегда обозначался словом \**qqlъ*”.

Благодаря тому, что в праславянском корне был носовой гласный, в современных славянских языках мы имеем разную вокализацию корня; церковнославянское *коутъ*, болгарское *кът*, македонское *кат*, сербохорватское *кут*, словенское *kqt*, чешское *kout*; польское *kqt*, древнерусское *кутъ*. В русских диалектах *кут-* “место, где сходятся внешние или внутренние стороны предмета, угол чего-либо; угол в избе; задняя часть, угол русской печи; запечье, подпечье, кухня” и т.д.

Смягчение зубного *t*, в отличие от предыдущего случая, дает по группам славянских языков разные результаты: церковнославянское *коушита* “шатер”, болгарское *къща* “дом”, сербохорватское *kiča* “дом”, словенское *koša* “хижина, лачуга”, словацкое *kička* “домик”, чешское диалектное *kiča* “будка, шалаш”, старопольское *kusza* “шалаш”, русское диалектное *куча* “шалаш”, украинское *куча* “клеть для птиц, клетка для выгула гусей на мясо”, “будка, конура”, “шалаш, курень”, “хлев для свиней”, “помещение, бедный, старый дом”; белорусское диалектное *куча* “хлев, небольшая хатка”. Слово *kotja* широко известно южным славянам, а в восточнославянских языках – в украинском и белорусском Полесье, Волыни, Гомельщине, Надднепровщине, верховьях Немана, в рязанской Мещере (См.: Этимологический словарь славянских языков. М., 1985. Вып. 12; Етимологічний словник української мови. Київ, 1989. Т. 3).

*Kotъ, kiča* русскому языку и его диалектам дали слова: *кут-ок*, *кут-ка*, *за-кут-ок*; *кут-ец*, *кут-я*, *кутъ-я*, *куч-а*, *кут-ать*, *кут-ница*, *кутник*, *кут-ный*, *кут-ня* и т.д.

Третий праславянский корень *kustъ*. Славянское *куст* сейчас однозначно отождествляют с литовским *kuokštas* “горсть, пучок, связка,

куст”. “Вероятно, слово было утрачено в других славянских областях и сохранилось только у восточных славян” (Филин Ф.П. Образование языка восточных славян. М.-Л., 1962).

*Kust-* с суффиксом *-jъ* в восточнославянских языках через ступень (ш’т’ш’ > ш’ч’) закономерно образует *-кущ*. *Kust-jъ*, очевидно, первоначально являлось определением при имени растения. В обиходной практике часто отсутствует ясное разграничение между понятиями *дерево*, *куст* и *трава*, ср.: *еловый куст* (Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка, М., 1989. Т. I. Ч. 2), *кущевая трава* “лекарственное растение” (Словарь русских донских говоров. Ростов-на-Дону, 1991. Т. 1). Только в одном из восточнославянских языков – украинском – субстантивированное прилагательное закрепляется непосредственно в качестве имени объекта, вместо *куст* – *кущ*, хотя никаких фонетических препятствий для этого в русском и белорусском нет. В украинском *кущ* имеет богатое словообразование гнездо: *кущик*, *кущак*, *кущаник*, *кущанка*, *кущар*, *кущарник*, *кущина*, *кущовик*, *кущовинка*, *кущовка*, *кущистий*, *кущастий*, *кущуватий*, *кущитися* и т.д. (Русско-украинский словарь. Киев, 1970. Т. 1).

Таким образом, мягкие варианты трех праславянских корней имеют следующие функции.

*Kuk-ja*. Во всех славянских языках имеет форму *kuća*, является многозначным, но сохраняет свою центральную сему “нечто выделяющееся своей высотой, множеством”, “скопление, груда разнородных объектов”.

*Kqt-ja*. В древнерусском языке, в отличие от современного русского языка функционировали оба мягких варианта славянского *kqtъ*. В народно-разговорном языке имела хождение восточнославянская модель *куча* в значении “хижина, шалаш, жилая постройка” со своими многочисленными производными: 1510 г. – “В то же время тряслася земля... и те вси оте страха великого выбегли вонъ из города из места на поле далеко отъ города, починивъ кучи, и до сехъ местъ живуть по кучамъ. Новг. IV лет., 538. И ныне мы [ельчани] отъ татарскихъ войскъ разорены къ, многие наши братья детиски боярские живуть, спедъ съ своихъ кученокъ, по чужимъ кучамъ... АМГ II” (Сл РЯ XI–XVII вв. М., 1981. Вып. 8).

Одновременно в переводных произведениях и оригинальных сочинениях не только на церковные, но и на светские темы употреблялось слово *куща*, восходящее к старославянскому *коушта* 1037–1049 г.: “... явися бог Аврааму, седящу ему перед дверьми куща своа в полудне у дуба Мамврийского; Авраам же тече в сретение ему и поклонися ему до земле и прият и в кушу свою. Иларион. Слово о законе и благодати (Молдован А.М. Слово о законе и благодати Илариона. Киев, 1984); XVII в. – “Мнози же человецы и скоты, бес покрова суще, и расхищаху всяка дресеса и камение на создание кущъ, понеже осени время наста. Сказ. Авр. Палицина” (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 8).

Усиливающееся после Куликовской битвы Московское государство было озабочено созданием авторитетного для всех славян литературного языка. Таким языком, с точки зрения официальной Москвы, мог быть единый древнерусский язык Киевской Руси. Архаизация литературного языка усиливается с притоком в Москву южнославянских книжников и началом так называемого “второго южнославянского влияния”. В южно- и восточнославянских синонимических рядах предпочтение отдается книжному варианту слова, и *куща* в основном значении “дом, жилая и хозяйственная постройка, шатер” начинает вытеснять восточнославянское *куча*. *Куча* в значении “шалаш, лацуга, помещение для скота, хлев, конура” сохраняется только в украинском и белорусском языках и пограничных с ними русских диалектах. Полностью исчезновению слова *куча* “дом” способствовало и омонимическое отталкивание от слова *куча* “груда”, “ворох”. Староукраинский и старобелорусский литературные языки формируются на основе “простой мовы”, и восточнославянское *куча* в этих языках сохраняется, хотя и сильно сужает свой ареал и свою семантику.

*Kust-jь*. Из-за отсутствия в старорусском языке собственного смягченного образования от *kustь* речь может идти лишь о проникновении украинского *кущ* в русский язык.

С воссоединением Украины с Россией, затем в период польской интервенции XVII века, когда в придворных кругах развивается “политесс с манеру польского”, усиливается польско-украинско-белорусское влияние на русский литературный язык. Идеалом литературного языка стал язык юго-западных выходцев Симеона Полоцкого, Елифания Славинецкого и учеников последнего – монаха Евфимия, Кариона Истомина, которые поставили себе задачу, где можно употреблять славянские слова и формы и избегать русские. Так же тяжело, по-славянски писали современники Петра I митрополит Иова, Питирим, Стефан Яворский, Гавриил Бужинский, Феофан Прокопович. Поэтому неудивительно, что слово *куща* в значении “листва, крона деревьев, зелень, заросли, чаща” впервые фиксируется в “Лексиконе трехязычном сиречь речений славенских, еллиногреческих и латинских...” (М., 1704. Т. I). Ф.П. Поликарпова-Орлова, ученика Лихудов, друга монаха Евфимия, учителя славяно-греко-латинской академии, затем директора московского Печатного двора. Недостаточная полнота светской лексики и иностранных слов, пристрастие к церковнославянизмам и архаизмам в словаре Ф. Поликарпова не удовлетворили Петра I. 2 января 1716 года И.А. Мусин-Пушкин писал Ф. Поликарпову: “История твоя и лексикон... не очень благоугодны были” (Брайловский С.Н. Ф.П. Поликарпов-Орлов – директор московской типографии // Журнал Министерства народного просвещения. 1894. № 9–11).

Новое слово очень быстро привилось в русском языке в качестве собирательного обозначения кустов, купы деревьев, благо словообразо-

вательная модель была общеславянской, ср.: *рост* > *роща*, *част(ый)* > *чаща*, *плоский* > *площадь*. Слово *куща* “крона” вступает в “конкурентную борьбу” со своим южнославянским омонимом *куща* “дом”, пустившим глубокие корни в русском литературном языке. В украинском языке по-прежнему преобладает форма единственного и множественного числа *кущ-кущі*, поэтому оформление слова *куща* “листва, крона деревьев” в форме именительного падежа женского рода надо признать заслугой собственно русского языка.

Пуристы, блюстители чистоты русского языка видели в использовании слова *куща* в значении “листва, крона деревьев, чаща” нарушение норм. А.С. Шишков писал, что «из старых слов и фраз иные пришли совсем в забвение; другие, не взирая на богатства смысла своего, сделались для не привыкших к ним ушей странны и дики; третьи переменили совсем знаменование свое и употребляются не в тех смыслах, в каких с начала употреблялись,.. вместо *куща*, думая писать возвышенным слогом, пишут *куща*, которого слово значит *шалаш*. “В безмолвной куще сосн густых...”, *куща* ничего другого не значит, как шалаш или хижина; что же такое: *кущи сосн?*» (Шишков А.С. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. СПб., 1803). В.В. Виноградов в “Очерках по истории русского литературного языка XVII–XIX веков” (М., 1982) заметил, что у Карамзина в “Моих безделках” (ч. 2, 1794) «в стихотворении “Осень” была допущена такая ошибка:

Пение в куцах умолкло,  
но переиздавая свои сочинения, Карамзин, под влиянием критики Шишкова, исправил стих:

Пение в рощах умолкло.

(Карамзин Н.М. Соч., 1803. Т. 1)».

В языке А.С. Пушкина слово *куща* в значении “шатер, хижина, кров” встречается четыре раза: *под сенью дымной кущи* в “Цыганах”, *родная куща*, *тень дубров*, *повесит меч войны средь отческа кущи* и в пародийном тексте: *да Байрона он узрит кущу* (Словарь языка Пушкина. Т. II). Если не учитывать не совсем ясного контекста *родная куща*, *сень дубров*, то *куща* как “сень, покров деревьев, чаща” не употребляется ни разу. Не признает нового значения слова *куща* и академический “Словарь церковнославянского и русского языков, составленный Вторым отделением Императорской академии наук” (СПб., 1867. Т. I).

Тем не менее можем сказать, что *куща* в значении “листва, крона деревьев, чаща” окончательно укрепляется в русском языке именно в начале XIX века. Уже в языке сочинений М.Ю. Лермонтова слово *куща* используется семь раз, но не одно из них достоверно не восходит к старому значению *куща* “дом, жилище”, например, “Он пел о блаженстве безгрешных духов / Под кущами райских садов...” (Ангел); “Пылающей грудью ко влаге студеной / Еще не склонялся под кущей зеле-

ной..." (Три пальмы); "И кущи роз, где соловьи / Поют красавиц безответных / На сладкий голос их любви..." (Демон).

Возможно, что именно после М.Ю. Лермонтова в слове *куща* значение "зелень, заросли, чаща, листва, крона деревьев" выходит на первое место, а значение "шатер, хижина, жилище" снабжается в толковых словарях пометами *трад(иционн)ое*, *устар(ел)ое*, *поэт(ическ)ое*. Этимологически правильное *куща* "дом", "жилище", употребляется только при описании библейских, исторических мест или при сравнении с ними: "Кровли домов и шалашей, разбросанных на горе и на покато-сти – решительно *куща* да сени древнего мира" (Гончаров. Фрегат "Паллада").

Библейские *райские кущи* – "небесные жилища праведников" в русском языке чаще всего употребляются иронически как "райские сады" – нечто недоступное, загадочное, сказочное: "Вот и дело с концом – В райских кущах покушаю яблок" (Высоцкий. Райские яблоки); "Но если Пиночету глубоко безразличны судьбы трудящихся, то уже своим союзникам – средней и крупной буржуазии – он обещал райские кущи" (Кармен А. Синьор, возьмите такси // Комс. пр. 1982. 29 дек.).

Вернемся к пушкинскому тексту. После проведенного анализа ясно, что А.С. Пушкин, обладавший тонким языковым чутьем, скрупулезно читавший древнерусские летописи, работая после своей южной ссылки в псковской глубинке над поэмой "Цыганы", не мог не знать древнерусского значения слова *куча*, и, вероятно, знал, украинско-белорусско-русское (новгородско-псковское) диалектное слово *куча* в значении "хибара, лачуга, непритязательное жилище". В этом легко убедиться, обратившись к продолжению монолога Алеко:

О Рим, о громкая держава!  
Певец любви, певец богов,  
Скажи мне, что такое слава?  
Могильный гул, хвалебный глас,  
Из рода в роды звук бегущий  
Или под сенью дымной кущи  
Цыгана дикого рассказ?

Противопоставление "неволи душных городов" и бродящей бедности и воли" еще более усиливается антитезой *куча* "лачуга, хибара, хижина" – *куща* "сень, скиния, шатер, жилище". Таким образом, лачуги *за оградой*, в которых люди... не дышат утренней прохладой противопоставляются вольным сениям цыганских шатров. А.С. Пушкин использовал и эвфоническую сторону *щ* и *ч*, различающих слова *куща* и *куча*. Слова со *щ* всегда в русском языке воспринимаются как элементы книжной, поэтической, торжественной, славянизированной речи и про-

тивопоставляются своим восточнославянским параллелям с ч, ср. *будущий – будучи, освещение – свеча, полночный – ночь*.

Итак восприятие словоформы *в кучах* как “жить, находиться, пребывать скученно” обедняет поэзию А.С. Пушкина, разрушает стилистический рисунок монолога Алеко и романтический пафос поэмы. Поэтому, комментируя “Цыганы”, к падежной форме *в кучах* также правомочно ставить помету *устар(елое)* и пояснять “люди (в хижинах, лачугах) за оградой. Не дышат утренней прохладой”.

Челябинск

---

---

## Отвечаем любознательным

---

---

### Вавилонское столпотворение

Выражение возникло из библейского мифа о попытке построить в древнем Вавилоне башню (столп), которая должна была бы достигнуть неба. Когда строители начали свою работу, разгневанный бог сделал так, что они перестали понимать друг друга и не смогли продолжать строительство. В церковнославянском языке слово *столпотворение* означало строительство столпа, башни. Выражение употребляется в значении: беспорядок, шум, суматоха.

За знакомой строкой



### Живой труп и мертвые трупы У Пушкина и Толстого

Эр. ХАН-ПИРА,  
кандидат филологических наук

Устойчивому словосочетанию *живой труп* сильно не повезло в лексикографии. Ни в одном из толковых словарей его нет: ни в статье **Живой**, ни в статье **Труп**. Есть синоним – *живые мощи*. В “Толковом словаре русского языка” под редакцией Д.Н. Ушакова (далее ТСУ) в статье **Мощи** о втором значении слова *мощи* сказано: “*перен.* Об очень исхудалом человеке (*разг., шутл.*)”, а *живые мощи* сопровождаются пометой *разг.* и пояснены: “то же, что мощи во 2 знач.”

“Словарь современного русского литературного языка” (далее БАС) второе значение слова *мощи* сопровождает пометой *перен.* и толкует так: “Об очень исхудалом, изможденном человеке”, а во фразеологической зоне словарной статьи приводит *живые мощи* без толкования, исходя, очевидно, из явного совпадения смысла словосочетания со смыслом слова *мощи* в переносном значении. Так же поступает и “Большой толковый словарь русского языка” (далее БТС), добавляя *ходячие мощи*.

“Словарь русского языка в четырех томах” (далее МАС) вслед за ТСУ, отсылает ко 2-му значению слова *мощи*, но снимает здесь помету *перен.* и толкует: “Об очень худом, изможденном человеке”. При этом МАС первым из толковых словарей приводит в словарную ста-

тью *ходячие мощи* и делает это так: “*живые (или ходячие) мощи*”. “Толковый словарь русского языка” С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (далее СОШ) второго значения у слова *мощи* не отмечает, а сочетание *живые мощи*, сопровождая пометой *разг.*, толкует как в ТСУ.

Возникло ли метафорическое значение у *мощи* в результате эллипсиса устойчивого сочетания *живые мощи* или, напротив, само сочетание порождено появлением второго значения у слова *мощи*? Любой ответ на этот вопрос не может поколебать вывода, что *живые мощи* давно уже языковая метафора и языковой оксюморон (т.е. стертые или почти стертые метафора и оксюморон, в отличие от речевых метафор и оксюморонов). И это, конечно, фразеологизм (фразеологическое единство), цельность смысла которого позволила Чехову в “Черном монахе” сказать об одном из персонажей: “[Таня] обратилась в ходячие живые мощи”. И, конечно, *живые мощи* есть во “Фразеологическом словаре русского литературного языка” (далее ФСРЛЯ), составленном А.И. Федоровым и аттестованном в “Предисловии” как “полный фразеологический словарь”. Здесь две словарные статьи **Живые мощи** и **Ходячие мощи** (т.е. эти сочетания рассматриваются не как варианты, а как синонимы, что совпадает с пониманием в позже вышедшем БТС): “**Живые мощи**. Экспресс. О предельно исхудавшем, изможденном человеке”, “**Ходячие мощи**. Разг. Экспресс. То же, что ж и в ы е м о щ и”.

Итак, толковые словари прошли мимо сочетания *живой труп*. Не помогли им ни Пушкин, у которого оно встречается дважды, ни Толстой, назвавший так свою драму. Возможно, своему появлению в толковых словарях *живые мощи* обязаны заглавию рассказа Тургенева.

*Живой труп* отсутствует и во фразеологических словарях русского языка. Зато есть в ФСРЛЯ *живой (ходячий) мертвец* и *ходячий труп*. О первом сочетании читаем: “Разг. Экспресс. О человеке, одряхлевшем физически и опустошенном духовно. Страдающая тень, обломок жизни прежней. Себя, живой мертвец, переживаю я (Вяземский...) – И живу я теперь, как ходячий мертвец: противно жить, нет сил предать себя смерти (А. Эртель...)”. О втором сочетании сказано “Презр. О человеке духовно и нравственно мертвом, опустошенном. Посмотрите на нас: мы обжоры, мы ходячие трупы, гробы. Казнокрады, народные воры. Угнетатели, трусы, рабы (Некрасов...)”. Помета “презр.” и само толкование представляются наваянными некрасовским контекстом. Отсутствие других оправдательных цитат позволяет усомниться в оязыковленности этой метафоры-оксюморона, как, впрочем, и сочетаний *живой мертвец*, *ходячий мертвец*. По-моему, все это результат желания Вяземского, Эртеля, Некрасова уйти от расхожих фразеологизмов *живые мощи*, *живой труп*, оживить метафоричность и оксюморонность сочетаний.

*Живой труп* отмечен в “Крылатых словах” Н.С. Ашукина и М.Г. Ашукиной, где сказано: «Выражение это получило широкое жож-

дение после появления драмы “Живой труп”... Однако выражение “живой труп” встречается в литературе и раньше, первоначально в значении: больной, изможденный человек. Например: [далее цитата из пушкинской “Полтавы”. – Э.Х.]. Затем выражение это стали применять не только к больному, но и перенесшему нравственное потрясение человеку. Например: “Он приехал в деревню живым трупом; нравственная жизнь была в нем совершенно парализована; самая наружность его сильно изменилась, мать едва узнала его” (В.Г. Белинский...). Теперь выражение “живой труп” употребляется в значении: человек опустившийся, нравственно опустошенный, а также вообще что-либо омертвевшее, изжившее себя».

В “Опыте этимологического словаря русской фразеологии” Н.М. Шанского, В.И. Зиминой, А.В. Филиппова читаем об этом сочетании, не замеченном толковыми словарями: «О человеке, опустившемся, потерявшем всякий интерес к жизни. *Собств. русск.* Широкоупотребительным оборот стал после появления драмы... “Живой труп”..., где главный герой Федор Протасов имитирует самоубийство, уходит из жизни в своем кругу. С первой пол. XIX в. выражение известно в знач. “серьезно больной, изможденный человек”».

У Пушкина *живой труп* встречается в “Полтаве” (1828–1829) и в стихотворении “Герой” (1830): “И день настал. Встанет с одра/Мазепа, сей страдалец хилый, / Сей труп живой, еще вчера / Стонавший слабо над могилой”, “[П о э т]... Не та картина предо мною! / Одров я вижу длинный строй, / Лежит на каждом труп живой, / Клейменный мощною чумою, / Царицею болезней...”. “Словарь языка Пушкина” поясняет смысл этого словосочетания в пушкинском тексте так: “о смертельно больном, умирающем человеке”. Пушкинский контекст, не меняя, как кажется, смысла сочетания *живой труп* (“серьезно больной, изможденный человек”), лишь уточняет степень серьезности, опасности болезни, степень изможденности. *Живой труп* у Пушкина не выходит за пределы смысла этого сочетания в языке того времени, да и нашего тоже. И с этим смыслом *живой труп* стоит в одном синонимическом ряду с фразеологизмами *живые мощи*, *ходячие мощи*.

*Живой труп* у Толстого имеет иной смысл. Если дотолстовский *живой труп* (как и *живые мощи*) обязан своим возникновением метафорическому переносу, породившему оксюморон, то толстовский *живой труп* не сравнивает физическое состояние, внешний вид, наружность живого человека с трупом, т.е. здесь, по-моему, нет метафоры, но есть оксюморон, порожденный противоположностью “гражданских состояний” самого объекта называния. Склоняясь к мысли, что в тексте толстовской драмы сочетание *живой труп* обозначает именно этот казус. Ср. “[Ф е д я]. Жена моя замужем. [П е т у ш к о в] Как же? Развод? [Ф е д я] Нет. (Улыбается). Она от меня осталась вдовой. [П е т у ш к о в] То есть как же? [Ф е д я] А так же: вдовой. Меня ведь нет. [П е

т у ш к о в] Как нет? [Ф е д я] Нет. Я труп. Да". И второй раз упомянут *труп* тоже Федей в камере судебного следователя: "Я не боюсь никого, потому что я труп и со мной ничего не сделаете; нет такого положения, которое было бы хуже моего".

*Живой труп* у Толстого – это де-факто живой человек, а де-юре умерший. Возможно, толстовский *живой труп* получил и второе значение, переносное (не метафорическое, а метонимическое, в данном случае по модели: перенос названия содержащего на содержимое – на душевное состояние персонажа, на смятение его чувств, на утрату им интереса и воли к жизни). Если это второе значение действительно вычитывается из горестной судьбы и поведения Федора Протасова, то оно не только переносное, но и отвлеченное.

*Живой труп*, существовавший в языке до Толстого, и *живой труп* у Толстого, видимо, словосочетания-омонимы.

Перейдем к словосочетанию *мертвые трупы* у Пушкина. Оно встречается в самом конце "Бориса Годунова": "[М о с а л ь с к и й] Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы".

И в пушкинское время, и ныне *мертвые трупы* – кричащий плеоназм, явная тавтология. Неужто Пушкин проглядел это, а вместе с ним и те, кто слушал в его чтении "Бориса Годунова"? К сожалению, "Словарь языка Пушкина" в статье **Труп**, дав пояснение "мертвое тело", просто приводит сочетание *мертвый труп* и цитату из "Бориса Годунова". Стало быть, согласно словарю, перед нами плеоназм. В это не верится. И хочется вслед за чеховским персонажем воскликнуть: "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда!" И здесь на помощь приходит труд В.В. Виноградова "Язык Пушкина". Там Виктор Владимирович писал о "приемах стилистического объединения" в "Борисе Годунове" "церковнославянизмов и древнерусизмов с нормами литературного выражения 20-х годов". Он отмечал: "Церковнославянизмы, наряду со словами, фразами древнерусского летописного языка, служат формами проецирования лиц и событий в бытовой контекст воспроизводимой эпохи". К тому месту, где Виктор Владимирович говорил об "отступлении", "стилизирующих речевой быт древности", он сделал такое примечание: «То обстоятельство, что Пушкин использовал для "Бориса Годунова" многие памятники русской средневековой литературы только в объеме цитат из них в примечаниях к "Истории государства Российского" Карамзина, не меняет сути дела. Важно, что языковой материал древнерусской письменности из "Примечаний" переносится в текст самой драмы».

Если вложенное в уста персонажу сочетание *мертвые трупы* не плеоназм, то значит здесь *труп* в значении, отсутствовавшем в пушкинское время. Обратимся к словарям. В "Историко-этимологическом словаре современного русского языка" П.Я. Черных после указания на

современное значение этого слова находим: «Ср. болг. **труп** – “труп”, а также “туловище”, “тело (человека или животного) без головы и конечностей” (...) с.-хорв. **трѹп** – “туловище”, “корпус” (напр., корабля), “колода”, “чурбан” (...) словен. **trup** – “туловище”, “корпус” (напр., корабля) (...) чеш. и словац. **trup** – “туловище”, “корпус”, “фюзеляж” (“труп” – *mrtvola, mrtvé tělo*) (...) Др.-рус. (с XI в.) **трупъ** – “мертвое тело”, “труп”, а также “пень”... Ст.-сл. **троупъ** – “мертвое тело”».

В “Этимологическом словаре русского языка” М. Фасмера читаем, что «др.-русск. *трупъ* “ствол дерева, труп, побоище”». В “Этимологическом словаре русского языка” Н.М. Шанского и Т.А. Бобровой сообщается, что *труп* – слово общеславянское и что в праславянском оно означало “пень, ствол, дерево”, а затем – “туловище” и “труп”. “Полный церковнославянский словарь” Г. Дьяченко в статье **Трупіе, трупія** приводит словочетание *трупія мертва* и поясняет: “тела мертвыя”. А в статье **Трупъ** указывает значения этого слова: “брюхо, живот; станъ телесный”.

В “Материалах для словаря древнерусского языка” И.И. Срезневского среди примеров употребления слова *труп* есть и такой: “Видевше своихъ нагихъ и побитыхъ лежаще, тако же и Новгородцевъ трупія мертвая, и побегоша вскоре” (Пример из псковской летописи). Том “Словаря русского языка XI–XVII вв.” на букву *т* еще не вышел из печати, но в томе на *м*, в статье **Мертвый** находим: “М е р т в ы й т р у п, т р у п и е – *труп, трупы* (1380): И множество... паде трупии мертвыхъ обоихъ и много побьено христианъ отъ татарь, а татарь отъ христьян. Моск. лет. А труповъ мертвыхъ своихъ наметаша корабли и потопиша в мори. Житие Ал. Невского”.

Есть сказка о том, как царь приказал мужику разделить курицу между царем, царицей и их чадами и как мужик это сделал: «Почесал мужик затылок и сказал царю: “Ты всему голова – тебе куриную голову. Царица твоя домоседка – ей куриную гузку. Дочки выйдут замуж и улетят – им по крылу каждой. Сыны тоже дома сидеть не будут – им куриные ножки. А я мужик глуп – мне тулуп”». Есть вариант концовки: “А я мужик глуп – мне весь труп”. М. Фасмер в своем словаре в статье **Туловище** приводит древнерусское *тулово*, украинское *тулуб*, болгарское *тулуб*, *тулобишче*, польское *tułow, tułub*, а в статье **Тулуп** пишет: “Трудно отрывать от слов приведенных на *туловище*: укр. *тулуб*, блр. *тулуп* (“туловище, шкура”)... Ввиду фам. *Тулубьев* Соболевский... считает форму на -б- более древней и связывает ее как исконнослав. с *туловище*... Другие видят в названии *шубы, тулуца* заимств. из тюрк. ...” Сказка *тулупом* называет туловище. А вариант сказки *трупом* тоже называет туловище, т.е. тело без головы и конечностей.

*Мертвые трупы* в “Борисе Годунове” – это *мертвые тела*. Пушкин стилизует речь персонажа, архаизирует ее. Здесь к месту будет вновь сослаться на В.В. Виноградова: «...необходимо отличать нейтральную

систему стихового языка “Бориса Годунова”, являющуюся как бы фоном для характернологического расслоения стилей драматической речи, от индивидуальных особенностей говорения, присвоенных отдельным персонажам драмы. Эта “нейтральная” система драматического языка в “Борисе Годунове” определяет авторскую манеру воспроизведения исторической действительности, вводит слушателя и зрителя в стиль изображаемой эпохи». И даже если допустить, что Пушкин не знал о многозначности слова *труп* и воспринимал *мертвые трупы* как плеоназм, он понимал архаичность этого мнимого (как я считаю) плеоназма и его архаизирующую способность в тексте.

Встречаемся мы с этим словосочетанием и у Толстого в дневнике Пьера Безухова. Пьер описывает свой сон: «Видел, будто я в Москве, в своем доме, в большой диванной, из гостиной выходит Иосиф Алексеевич. Будто я тотчас узнал, что с ним уже совершился процесс возрождения, и бросился ему навстречу. Я будто его целую, и руки его, а он говорит: “Приметил ли ты, что у меня лицо другое?” Я посмотрел на него... и будто вижу, что лицо его молодое, но волос на голове нет, и черты совершенно другие... И вдруг вижу, что он лежит как труп мертвый; понемногу пришел в себя и вошел со мной в большой кабинет, держа большую книгу, писанную в александрийский лист». Здесь, по моему, возможны два понимания. Первое. Это сравнение. Особенно отчетливо оно видно, если сделать перестановку: лежит мертвый, как труп... Только что был живой, говорил – и вдруг лежит. Второе понимание – это архаичное, библейское, церковнославянское *труп мертвый*.

Считаю долгом выразить глубокую признательность Вере Александровне Робинсон (Плотниковой) и Михаилу Николаевичу Лукашеву, поддержавших меня в предположении о мнимой плеонастичности сочетания *мертвые трупы* и давших несколько дельных советов.

---

## К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

---

Подписка на журнал “Русская речь” (индекс 70788) принимается в отделениях связи.

По вопросам льготной подписки обращайтесь в редакцию.

Телефон: 290-23-78.

---

За знакомой строкой

## БЕЛЫЙ ШЛАФРОК И ПУНЦОВЫЙ ФУЛЯР

И.В. ЩУРОВА

При чтении классики восприятие малознакомых слов ограничивается ближайшим значением. Столкнувшись, к примеру, со словами *фуляр*, *шлафрок*, нетрудно догадаться, что речь идет об одежде. Дальнейшее же значение, то есть индивидуальные признаки этих предметов остаются непроясненными. Но именно понимание деталей – свидетельство подлинной читательской культуры, уважения к творчеству писателя.

При изучении произведений Н.С. Лескова такое внимание к каждому слову особенно важно. А.С. Орлов в книге “Язык русских писателей” подчеркивал: “Лескову свойственна острая наблюдательность с выделением характерного, типичного, точность наблюдения в деталях, выражение всех деталей терминами, существующими в обиходе или специальности, а не надуманными и притом пластично соответствующими реалиям, о какой бы области явлений дело не заходило. В результате получились речевые картины, верные времени, месту, состоянию и другим определителям и разительно передающие оригинальность впечатлений автора и цель его воздействия” (М.–Л., 1948). В.Ю. Троицкий отмечает, что Лескову свойственно пристальное изучение “обстановочного” материала, особый интерес к историко-этнографической и социальной сторонам действительности, к житейским “побасенкам” и историям, отражавшим характерные черты миропонимания тех людей, среди которых они бытовали. Мало того, писатель считает: чтобы верно судить о людях и их характерах, “на них только и можно смотреть глазами той именно среды, где они чудотворят”.

Обратимся к знаменитому роману “Соборяне”. Супруга протопопа Туберозова готовит ему вечерний туалет: “...Мать протопопица внесла белый пикейный шлафрок и большой пунцовый фуляр. Постель была постлана отцу протопопу на большом, довольно твердом диване из карельской березы. Изголовье было открыто: белый шлафрок раскинут по креслу, которое поставлено в ногах постели: на шлафрок положен пунцовый фуляр...” В небольшом контексте Лесков дважды описывает приготовленные к приходу протопопа вещи. Случайно ли? Подсказки комментаторов могли бы, вероятно, помочь ответить на этот вопрос. В примечаниях к одиннадцати-, двенадцати- и шеститомному собраниям сочинений писателя можно узнать следующее: *шлафрок* – “халат” (Лесков Н.С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1), но читатели 12-томного собрания произведений Н.С. Лескова о шлафроке ничего не узнают, если не обратятся к словарям.

Слово *пикейный* не комментируется никем. В словарях находим: “**Пикейный** – от *пике*... Материя, сделанная в два утока и представляющая различные цветы” (Бурдон И.Ф., Михельсон А.Д. Словотолкователь 30000 иностранных слов, вошедших в состав русского языка. 1871). Более развернутое определение у Н. Дубровского: “Особая плотная хлопчатобумажная материя в два утока с возвышениями на поверхности” (Полный толковый словарь всех общеупотребительных иностранных слов, вошедших в русский язык. 1914). Более полную информацию об этом слове можно встретить у Р. Кирсановой: “**Пике** – хлопчатобумажная, реже шелковая ткань, лицевая поверхность которой выработана в виде рубчиков различной формы (...) Хлопчатобумажное пике из-за своей плотности и высокого качества отбелики считалось наиболее подходящим материалом для модных жилетов. Цветное и набивное пике – достаточная редкость, так как выше всего ценилась белизна” (Костюм в русской художественной культуре XVIII–первой половины XIX века. М., 1995). Но “случайных” деталей у Лескова не бывает. Дважды упоминаемый белый пикейный шлафрок – это та “мелочь” протопоповской жизни, которая позволяет предположить, что поп Савелий относился к своим туалетам со всем вниманием, поскольку именно белое пике ценилось и было модным во время действия романа.

О слове *фуляр* комментаторы 6- и 11-томного Собрания сочинений Н.С. Лескова лаконично сообщают: “тонкий шелковый платок”. Только комментатор 12-томника посчитал слово *фуляр* всем известным, т.к. краткие справки о слове можно найти в “Толковом словаре русского языка” Д.Н. Ушакова, в 4-томном “Словаре русского языка” и других справочных изданиях. Д.Н. Ушаков дает такое определение: “Легкая и очень мягкая шелковая ткань”, но значение “платок” здесь не учтено. В новом словаре Ю.А. Федосюка “Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века” (1998) о фуляре сказано: “**Фуляр** – легкий шелк, из которого чаще всего изготовлялись головные, шейные и носовые платки, иногда последние поэтому назывались фулярами”. Однако употребления этого слова противоречит утверждению, что *фулярами* называли только носовые платки. У П.Д. Боборыкина в романе “На ущербе” Маргарита Сергеевна “носила по утрам блузочку с кушаком и подвязывала голову фуляром” (Собрание романов, повестей и рассказов. В 12 т. СПб, 1897. Т. 5). У этого же автора в романе “Василий Теркин” встречаем: “Калерия, еще в дорожном платье, стояла спиной к двери. Серафима, в красном фуляре на голове и в капоте, – лицом”. У Н.С. Лескова речь же идет о шейном платке: “Отцу протополу не спалось, и он чувствовал, что ему не удастся уснуть: прошел час, а он еще все ходил по комнате в своем белом пикейном шлафоре [шлафроке. – Ред.] и пунцовом фуляре под шеей”.

Познавательные статьи о фуляре имеются в книгах о костюме в

русской художественной культуре Р. Кирсановой. В издании 1989 года она отмечает: “Сортов фуляра было очень много, например луизин – самый тонкий фуляр, алатолоза – предназначенный только для изготовления шейных платков, *фуляртин* и т.д.” (Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. М., 1989).

В “Словотолкователе” И.Ф. Бурдона и А.Д. Михельсона поясняется: “**Фуляр**. Первоначально вывезенная из Индии, а ныне вырабатываемая в Европе легкая материя из шелка или шелка и бумаги. Индийские фуляры по большей части красного цвета”. Логично предположить, что цвет – *пунцовый* фуляр – Лесковым назван неслучайно: Туберозов надевает на шею именно индийский платок. В связи с этим интересно замечание авторов “Толкового словаря 40000 иностранных слов” (М., 1875): “**Фуляр** – легкая ткань из шелку, пополам с хлопчатую бумагою, превосходно выделяемая в Индии, откуда она и вывозится в Европу, и хотя в Европе также ткут фуляр, но он далеко хуже индийского”. А как утверждает Р.М. Кирсанова, “сортов фуляров было очень много”. Из этого изобилия, однако, Туберозов выбрал лучшее. Вспоминаются строки из “Демикотоновой книги протопота Туберозова”: “Франтовство одолело!”, и привычный образ уж очень положительного до “сухменности” аскета протопота приобретает живительные черты. Мода не чужда и священникам! А как подтверждение – поп Савелий в “Божедомиах” (второй редакции романа; как известно, “Соборяне” – третья). Протопот советует Дарьяловой принарядиться: “Да отчего же себя не приукрасите, чем возможно. Господь цветы пестрит и наряжает, а вы цветка изящней... Красота восхитительна, – глядя на нее сам молодеешь. Я всякого изящества поклонник...” (“Божедомы”. Ч. II. ЦГЛА, ф. 275).

Таким образом, “белый пикейный шлафрок и большой пунцовый фуляр” – это те малозаметные, но значимые штрихи, которые оттеняют знакомый образ мудрого протопота и позволяют увидеть в нем при внутренней красоте искреннее стремление придать своей жизни достойную “внешнюю форму”.

Курган

## 4-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РИТОРИКЕ

Очередная 4-я Международная конференция по риторике на тему “Риторическая культура в современном обществе” состоялась 26–28 января 2000 года в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина. Конференцию открыл председатель Российской ассоциации исследователей, преподавателей и учителей риторики В.И. Аннушкин. Гостей приветствовал проректор по учебной работе ГосИРЯ имени А.С. Пушкина Ю.Е. Прохоров. Он высоко оценил усилия ученых и педагогов, стремящихся восстанавливать риторические идеи в России, подчеркнул значение возрождающейся дисциплины для русистики в целом, рассказал о том, как организовано преподавание риторики на разных факультетах ГосИРЯ имени А.С. Пушкина.

Риторические конференции стали регулярным опытом обмена мнениями всех, кому небезразличны судьбы русского слова, вопросы методики преподавания русской речи во всех областях педагогического образования: в школе и вузе, для русских и иностранцев. Риторика, рассматриваемая как учение об убедительной и эффективной речи, пытается ставить и разрешать острые проблемы построения оптимального речевого взаимодействия в современном информационном обществе: от правил ведения бытового диалога и деловых переговоров до искусства политической и публицистической речи. Столь же разнообразной была программа пленарного и секционных заседаний, где шло заинтересованное обсуждение современного состояния и перспектив развития культуры русского слова.

На пленарном заседании было заслушано 9 докладов. Л.К. Граудина в докладе “О некоторых проблемах современной риторики” рассмотрела злободневные вопросы современной общественно-речевой практики и культуры речи, приведя конкретные примеры нарушения норм общения и предложив пути достижения эффективных речевых результатов. Элитарному типу речевой культуры и его соотношению с феноменом риторического мастерства уделила внимание в своем докладе О.Б. Сиротинина. “Интенции как предмет риторического исследования” – такова тема доклада Н.И. Формановской. В рамках понятия “практическая риторика” проанализировал пути построения преподавания риторики в вузе и школе И.А. Стернин, показавший не-

которые эффективные приемы построения курса обучения риторике.

Особое внимание собравшихся было привлечено к докладам, касавшимся преподавания риторики в современной русской школе и вузе. В сообщении Р.И. Альбетковой был обобщен опыт, накопленный в процессе создания курса словесности для 5–11 классов русской школы. Н.А. Ипполитова рассказала о риторическом обучении студентов-словесников на образцах современной риторической культуры. Лингвориторический анализ конкретных текстовых конструкций был продемонстрирован в докладе О.А. Лаптевой “Нейтрализация позиции слова как усилительный прием”. Определению содержания русского риторического идеала с уточнением правил ведения речи на материале русских пословиц посвятил свое выступление А.П. Сковородников. В докладе В.И. Аннушкина определения риторики и культуры речи были уточнены с точки зрения истории русских филологических учений о речи, а затем рассмотрены некоторые актуальные области общественно-языковой практики, возможности организации риторического образования и влияния на состояние речевой культуры общества.

Вечером первого дня конференции был проведен “Филологический вечер памяти Ю.В. Рождественского”, где с научными докладами и воспоминаниями выступили ученики и коллеги недавно скончавшегося ученого, автора ряда фундаментальных теоретических исследований, замечательного лектора и педагога, восстанавливавшего риторикой, по крайней мере, с 70-х годов уходящего века.

На конференции были представлены информационные материалы Российской риторической ассоциации, развернута выставка риторической литературы (библиотека Риторической ассоциации). К началу конференции был выпущен сборник тезисов, включивший материалы более 80 докладов.

Интерес к конференции со стороны русистов Москвы, российских городов, стран СНГ, а также Латвии, подтверждается количеством сделанных докладов, которые были распределены во второй день конференции по пяти секциям: 1. Общая риторика и речевая культура общества. 2. Частная риторика и общественно-речевая практика. 3. Риторика–стилистика–художественная литература. 4. Преподавание риторики в школе. 5. Преподавание риторики в вузе.

Широта и разнонаправленность интересов докладчиков потребовали выделения в рамках этих секций так называемых “подтем”, многообразие которых засвидетельствовано в самом перечне: риторика средств массовой информации; риторика художественной литературы; риторические фигуры; риторика бытовой речи; содержание и методика преподавания риторики в вузе; история риторики и стилистики; риторика в юридическом вузе.

Третий день конференции был начат работой круглого стола по те-

ме “Проблемы преподавания риторики и речеведческих дисциплин”. Е.А. Юнина рассказала о работе научно-педагогической школы риторики и факультета по подготовке учителей риторики в Перми, отмечающих в этом году 10-летие своего существования. С предложениями об организации вузовских экзаменов и тестирования выступил М.Ю. Федосюк. О месте риторики в современной школе, перспективах ее вхождения в базисный учебный план, замысле проведения Олимпиады школьников по риторике рассказала начальник отдела гуманитарного образования Министерства образования РФ Л.М. Рыбченкова.

В ряде других выступлений коллег на круглом столе звучали деловые предложения относительно будущей деятельности ассоциации, связанной с эффективным решением волнующих всех проблем культуры русской речи, риторического образования и воспитания. В частности, председатель Ассоциации исследователей чтения И.В. Усачева (Москва) предложила провести совместную конференцию “Слово как основа образования”; Н.В. Шевченко (Саратов) говорила о связи вузовского и школьного преподавания риторики; о необходимости организации курсов речевого мастерства, поддерживающих ставшую популярной программу “дебаты”, высказал мнение С.Е. Тихонов (Салехард); о заинтересованности учителей в развитии дисциплин коммуникативного плана – Д.И. Архарова (Екатеринбург); о возможностях Риторической ассоциации влиять на повышение риторической культуры – Л.В. Дворецкий (Петрозаводск); об опыте организации риторического обучения в разных вузах Белоруссии – С.Я. Кострица (Белоруссия, Гродно).

Конференция по риторике продемонстрировала многообразие творческих исканий современных педагогов и ученых, озабоченных проблемами развития речевой культуры современного общества, вопросах эффективного преподавания и обучения русской речи. В то же время итоги конференции свидетельствуют об оптимизме, с которым на пороге третьего тысячелетия филологи-русисты смотрят на неиссякаемые возможности творческого развития русского слова, при правильном пользовании которым не только организуется любая деятельность, но и создается атмосфера общественного согласия, добра и благоденствия.

## Какую роль сыграл Сталин в истории языкознания?

*Н.А. ЕСЬКОВА,  
кандидат филологических наук*

Товарищ Сталин, вы большой ученый,  
В языкознанье знаете вы толк...

Не в последнюю очередь благодаря этой песне Юза Алешковского факт "какой-то причастности" Сталина к науке о языке широко известен. И начинает действовать стереотип мышления: уж если вмешался "вождь и учитель" в эту науку, то наверняка сотворил что-то преступное.

Это не соответствует действительности, но опровержение укоренившегося ложного представления дается нелегко. Произошел даже такой курьезный случай. В "Литературной газете" (в № 5 за 1992 г.) появилась статья, написанная совместно писательницей и ученым – Натальей Ильиной и доктором филологических наук Л.Л. Касаткиным. Авторитетные авторы привели убедительные свидетельства, что вмешательство Сталина в языкознание не только не было губительным для этой науки, но даже сыграло положительную роль. Но на другой полосе того же номера газеты автор, далекий от лингвистики, заявлял, что после появления статьи "отца народов" "началась ликвидация всего классического языкознания". Такой вот "рекорд плюрализма" поставила "Литературка"! А совсем недавно, в этом году, в передаче "Династия Орбели" на телеканале "Культура" прозвучала фраза: "...появилась печально знаменитая статья Сталина".

В публицистических статьях последних десятилетий не раз проводилась мысль, что Сталин "ошелмивал" великого ученого – Н.Я. Марра. Представления нелингвистов об истории отечественной науки о языке бывают на удивление далеки от истины. В "Московской правде" от 23.3.91 г. была напечатана статья к столетию С.И. Вавилова. Вот как представляет себе ее автор положение языкознания среди других наук в годы, когда Академию наук возглавлял С.Н. Вавилов: «Это было время, когда громилась генетика и кибернетика, удушались психология и квантовая механика, кода небезопасно было упоминать о теории относительности, а в языкознании равнялись на "труды" отца народов». Чтобы по достоинству оценить "осведомленность" автора в данном вопросе, надо учесть, что С.И. Вавилов был президентом АН СССР с 1945 по 1951 год, а труд "отца народов" появился в 1950.

Нет, картина советского языкознания в то время была совершенно иной. Со второй половины 30-х гг. и с особой силой – в конце 40-х в лингвистике свирепствовала своя “лысенковщина” – “новое учение о языке” академика Марра. Сам он, умерший в 1934 г., не застал “расцвета” разрушительного действия на лингвистическую науку своих идеологических заклинаний.

Как это ни парадоксально, вмешательство Сталина в языкознание, завершившее так называемую “свободную дискуссию”, развернувшуюся в 1950 г. на страницах “Правды”, принесло этой науке больше положительного, чем отрицательного. Оно нанесло сокрушительный удар по марризму и по тому, что “великий вождь” назвал “аракчеевским режимом в языкознании”. Сделано это было, разумеется, тем же методом, каким наслаждался сам этот режим, так что Сталина впору изобразить эдаким Тарасом Бульбой, говорящим “аракчеевскому режиму”: “Я тебя породил, я тебя и убью!”

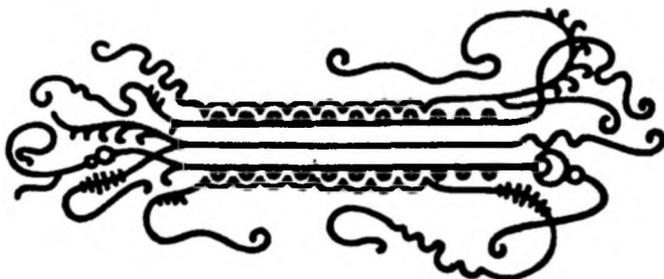
“Гениальные труды” не содержали, конечно, ничего гениального, но там были вполне здравые мысли, в частности, разоблачалось абсурдное положение о языке как надстройке над базисом. Было “реабилитировано” сравнительно-историческое языкознание, и многие крупные ученые, подвергавшиеся нападкам за непризнание “нового учения о языке”, вздохнули свободно. Назову такие известнейшие имена, как академик В.В. Виноградов, член-корреспондент Р.И. Аванесов, профессор А.А. Реформатский.

Последний вспоминает об этом так: «40-е годы были для лингвистики трудными: первая половина – война, прекращение печатания и прочие тягости, а вторая – бешеный рецидив марризма и создание “аракчеевского режима”, и только после “дискуссии” в “Правде” в 1950 г. возникли благоприятные условия и возможности не только “писать в стол”, но и печатать...» (А.А. Реформатский. Из истории отечественной фонологии, 1970).

Таковы факты, к сожалению, почти не известные нелингвистам. И получает широкое хождение простенькая схемка: Сталин плохой, он ниспроверг Марра, значит Марр – великий ученый, которого надо “реабилитировать”. Но жизнь не подчиняется примитивным схемам.

Один известный политик как-то остроумно заметил, что никакие новые факты не сделают фигуру Сталина еще мрачнее, как черный квадрат Малевича не может стать еще чернее. Точно так же облик Сталина не становится “светлее”, даже если разоблачить “в его пользу” некоторые мифы. Историю любой науки надо видеть такой, какой она была на самом деле.

Об этой странице истории советского языкознания написаны две книги, вышедшие в 1991 году: В.М. Алпатов. История одного мифа. Марр и марризм; М.В. Горбаневский. Вначале было слово... Малоизвестные страницы истории советской лингвистики.



### *“Кэмел трофи” по-русски*

*А. С. ПОДЧАСОВ*

Увидеть в газете ясные, информативные, а не только броские заголовки и мгновенно определить, какой материал нужно прочитать в первую очередь, какой – прочесть за чашкой кофе, а какой дать посмотреть приятелю – вот мечта любого читателя. Увы! До ее воплощения по-прежнему далеко!

Более того, заголовки, призванные служить указателями на содержание текста, часто оказываются просто непонятными и потому пустыми, хотя и звонкими фразами: “Бампер с отцом выбрали Девушку-2000” (Веч. Москва. 1999. 20 дек.). Тот, кто все-таки решит прочитать статью, найдет, что она посвящена шоу, прошедшему на сцене МХАТа. Именно на эту сцену поднялся мальчик по фамилии Бампер, когда-то завязавший по Интернету знакомство с одной из претенденток на звание “Девушка-2000”. К выборам главной красавицы мальчик не имел никакого отношения.

“Мода 2000: прыжок кенгуру и бантики” (Клиент. 1999. № 50). Под таким сумбурным заголовком читателя “поджидает” интервью с известными модельерами на тему о самых актуальных деталях одежды будущего года.

Некоторые из такого рода заголовков “блистательно” (по мнению авторов) снабжены аббревиатурами: “Премьер запустил МБР”. В заметке речь идет о межконтинентальной баллистической ракете (означенной в заголовке коротко, но неясно), при запуске которой присутствовал – а вовсе не руководил им – глава правительства России (Независимое обозрение. 1999. № 49). “ЕБРР признался, что развалил Россию”. Речь идет об отчете Европейского банка реконструкции и развития за 10 лет (Новая газета. 1999. 20–26 дек.). “Минфин расплатился с CSFB”. Под этим заголовком помещена статья о банке Credit Suisse First

Boston, в интересах которого был организован первый аукцион государственных краткосрочных обязательств (Коммерсант. 1999. 18 дек.).

Материалы с такими заголовками прочтут лишь три категории читателей: узкий круг посвященных в значение аббревиатуры; крайне любознательные читатели, заинтригованные непонятными словами; наконец, читатели, принципиально прочитывающие каждый номер “от корки до корки”. Как можно догадаться, все перечисленные читательские группы немногочисленны. Остальные просто оставят материал, помещенный под непонятным заголовком, без внимания.

Справедливо раздражают читателей введенные в заголовок без особой на то причины и далеко не каждому понятные иностранные слова. Так, заголовком “Же не манж па сис жур” (Веч. Москва. 1999. 18 дек.) начинается публикация, посвященная теме личного имущества народных избранников, как она освещается телевидением. Заголовок, смысл которого, вероятно, поймут далеко не все, не получил объяснения в тексте. Под заголовком «“Кэмел трофи” по-русски» помещена статья, в которой упоминается в частности, прогулка верхом на верблюде. Однако, если значение слова “кэмел” знакомо широко читательской публике, то смысл словосочетания “кэмел трофи”, не раскрытый в тексте, многих поставит в тупик.

Наконец, повторим общеизвестное требование к газетному заголовку: быть не только лаконичным, но и точным, соответствовать тону и стилю помещенного под ним текста. К сожалению, и это требование нередко игнорируется в российских газетах. Например, в публикации, озаглавленной “Вслух на ощупь” (Мир за неделю. 1999. № 13) речь идет... об искусстве озвучивания фильмов. Заголовок “Вира!” (Версия. 1999. 27 июля – 2 авг.), о смысле которого автор статьи говорит следующим образом: “так кричат на стройке, когда поднимают груз”, предваряет статью, посвященную экономическим взглядам финансиста Годзинского.

Все эти заголовки в той или иной мере вводят читателей в заблуждение относительно содержания помещенных под ними материалов.



## “Культура речи” – в вашем компьютере

Недавно вышел в свет словарь “Культура речи от А до Я”, который являет собой пример гармоничного соединения гуманитарной и технической отраслей знаний. Содержательную часть этого словаря обеспечила его непосредственный автор – Н.В. Муравьева, за техническое оснащение отвечали сотрудники консалтинговой группы “Термика” ([www.termika.ru](http://www.termika.ru)), облекшие этот труд в электронную форму в среде информационной системы “Кодекс”.

Словарь “Культура речи от А до Я” включает слова и словосочетания терминологического характера, обозначающие понятия из области культуры речи, риторики и стилистики. Поэтому аудитория его потенциальных пользователей безгранично широка. Словарь станет хорошим подспорьем при изучении основ русского языка для всех, у кого этот предмет является обязательным. Причем окажется полезным как для школьников и студентов (особенно для тех их представителей, которым уже давно набило оскомину традиционное “бумажное” образование), так и для учителей и преподавателей вне зависимости от учебного заведения. Кроме того словарь может стать “настольной книгой” для разработчиков пресс-служб, менеджеров по связям с общественностью и т.п. И наконец, он незаменим для всех тех, кто просто хочет уметь грамотно пользоваться родной речью и правильно поддерживать светскую беседу как на официальном (почему бы его не почитать руководящим работникам?), так и на неофициальном (зачем вам краснеть перед собственными детьми?) уровнях. Приятно отметить, что это электронное издание уже “несет культуру” в массы “федерального масштаба”: словарь “Культура речи от А до Я” стоит в открытом доступе в корпоративной сети Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, так что теперь любой “народный избранник” – депутат третьего созыва, сможет повысить свой культурный уровень, не отходя от рабочего места.

За дополнительной информацией и по вопросам приобретения словаря-справочника “Культура речи от А до Я” следует обращаться в консалтинговую группу “ТЕРМИКА”:

Телефон: (095) 234-18-92, 956-21-01, 951-27-40, 953-57-27

E-mail: [ask@termika.ru](mailto:ask@termika.ru)